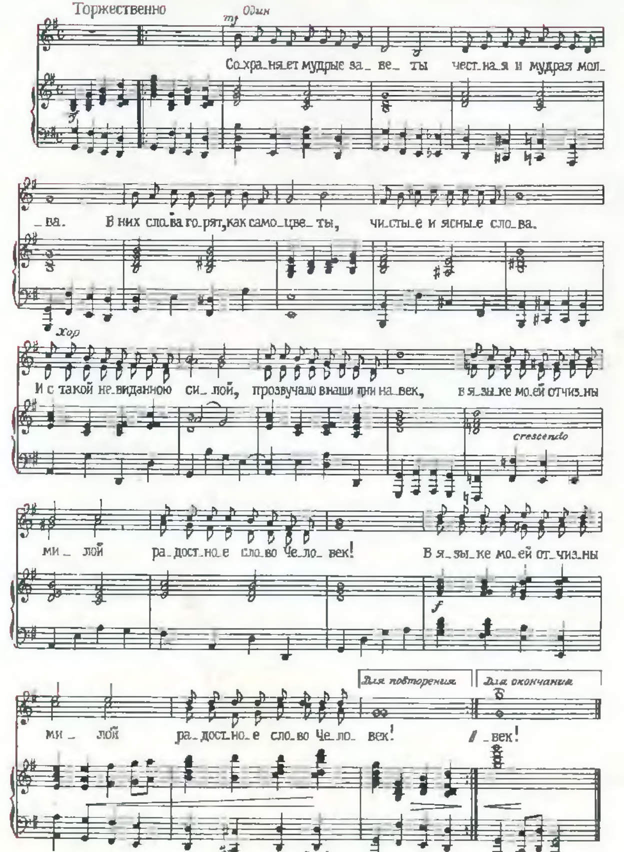ОГОНЁК
№ 45 НОЯБРЬ 1957
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»



1917 - 1957



Гимн человеку

Слова Сергея **НАРОВЧАТОВА**

Музыка Зои **ВЕРНЕР.**

Сохраняет мудрые заветы
Честная и мудрая молва.
В них слова горят, как самоцветы,
Чистые и ясные слова.
И с такой невиданною силой
Прозвучало в наши дни навек
В языке моей Отчизны милой
Радостное слово: Человек!

В те года, когда в судьбине горькой
Людям на земле был свет не мил,
Гордо Алексей Максимыч Горький
Это слово к солнцу возносил.
На борьбу за счастье поколений
К человеку обратил свой клич
Наш великий и любимый Ленин,
Незабвенный, дорогой Ильич!

Наш народ, счастливый и свободный,
Ленинская партия ведет,
И с мечтой большой и благородной
К коммунизму движется народ.
Подняли мы в годы боевые
Наше знамя красное навек!
Славься, край родимый, где впервые
Гордо прозвучало: Человек!



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№ 45 (1586) 3 НОЯБРЯ 1957

35-й год издания

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

*С великим праздником,
дорогие товарищи, —
40-летием Октября!*

Владимир Ильич ЛЕНИН в своем рабочем кабинете. Кремль, 1918 год. Фото П. Оцупа.

СПРАВИЛИСЬ!

В. КАРАСЕВ,
рабочий Кировского завода, Герой Социалистического Труда, кандидат в члены Центрального Комитета КПСС



Припомнился мне один разговор, о котором узнал я от Алексеева Михаила Гавриловича, дяди Миши... Между прочим, это уж так ведется у нас на заводе: что ни старый путиловец, то и дядя для всех. Шагает, скажем, по заводскому двору Михаил Павлович Решетов, мужик с виду суровый, усатый, седой, а навстречу бежит вприпрыжку тонконогий ремесленник:

— Привет, дядя Миша!

Михаил Павлович, конечно, и знать не знает этого «племянничка», но не обижается: дядя, так дядя...

Так вот, Алексеев Михаил Гаврилович давно, еще до войны, рассказывал нам, тогда еще молодым краснопутиловцам, о таком случае... Было это в ночь на двадцать девятое октября семнадцатого года. Керенский двинул из Красного Села войска. Завязались бои. Путиловцам поручили к утру — заметьте, к утру! — подготовить и выпустить на линию бронепоезд. И вот тогда-то, в холодную, дождливую ночь, и приехал иа завод Ленин. Он приехал один. Ни в проходной, ни во дворе — темень была непроглядная — никто не узнал его. Торопливо прошел Ильич в заводской комитет, протянул к печурке озябшие руки. Ну, понятно, осведомился о бронепоезде, объяснил, как срочно он нужен революции, а потом, удостоверившись, что путиловцы не подведут, присел, разговорился с людьми о жизни. Принесли картошку, кипяток — не ахти какой богатый ужин революционной поры! Ильич взял горячую картошку, покатал ее на ладони, очистил, обмакнул в соль, надкусил, улыбнулся:

— Великолепно! За границей я не едал такой...

А поужинав, обернулся к Алексееву, спросил:

— Ну и как же вы думаете, товарищи? Поднимем завод без капиталистов? Справимся?

Я и сам видел и слышал Ильича. Нет, не тогда, не на заводе — попозже. Провожал нас, кронштадтских морячков, Ильич на Восточный фронт. Речи его, вернее, слов, я не помню; не судите строго: был-то я в те дни совсем желторотый юнец. Порой говорят: Карасев, дескать, участник штурма Зимнего. Но что значит участник штурма? Необыкновенный герой? Закаленнейший большевик? Не все же были такие! Первыми шли на штурм убежденнейшие ленинцы, старая Ильичева гвардия, подпольщики, бойцы пятого года, кремневый народ, орлы. Ну, и я, семнадцатилетний воспитанник судовой команды, и я вместе с кронштадтцами вышел на Дворцовую площадь. Шел я рядом с учителем моим, наставником и, считайте, отцом, Якумом Гайбитуллинным — настоящим ленинцем старой закалки. Ровно через год умер он у меня на руках от колчаковской пули в зауральской степи.

Сознавал ли я тогда всю громадность дела, затеянного партией? Нет, не будем грешить, не сознавал. И не моя заслуга, что я штурмовал Зимний, а заслуга партии в том, что подняла она нас, вот таких пестрых: малограмотных, сырых, городских, деревенских,— всех подняла и окрылила своей правдой. А для меня чем была революция? Школой она была! Школой! И если уж надо гордиться, то тем, что учил нас в этой школе сам Владимир Ильич. Да, не запомнил я его речи к бойцам молодой Красной Армии, но вот вся обстановка и, как бы сказать, Ильичева повадка — это на всю жизнь осталось в душе. Потому-то, может, как-то очень картинно и представляю я себе ту октябрьскую ночь на заводе, о которой рассказывал Алексеев. Ночь глухая, дождливая. Сидит у огонька над картошкой бок о бок с рабочими великий наш и простецкий Владимир Ильич и, чуть прищурясь, спрашивает у путиловцев:

— Справимся?!.

* * *

Нынешний октябрь был у меня хлопотный. Две недели провел я в Москве — то в Центральном Комитете партии, то на московских заводах. А воротился — в цеху накопилось дел невпроворот. А деньки-то шли вон какие! Нет-нет да и отвлечешься от «текучки». То глянешь в небо, подумаешь о спутнике, что день и ночь кружит над белым светом... То прочтешь, что в Куйбышеве, как говорится, на «полную железку» пустили величайшую в мире ГЭС. Прочтешь, разволнуешься. Она ведь и наша, ленинградская ГЭС, турбины с Металлического, а генераторы с «Электросилы». Разволнуешься и припомнишь свое заводское, первую пятилетку...

Как мы жили тогда, как воевали! Начиналась сплошная коллективизация, а тракторы-то делали только на нашем заводе. Только на нашем! И как делали? К станкам становились малограмотные, суеверные парни, крестом расписывались в ведомостях. Деревенщина. В двадцать восьмом году выпустили мы тысячу тракторов, в двадцать девятом — три тысячи. Правда, говорилось, что каждый путиловский трактор — это снаряд, взрывающий старый мир. Но ведь только три тысячи снарядов! «Как слону дробина» — именно так, помнится, с горечью и сказал об этом один наш слесарь.

И вот наступает тридцатый год, и партия говорит нам: «Дайте десять тысяч тракторов!» Десять! А мы накануне с превеликим трудом выпустили три тысячи. Маловеры заорали изо всех подворотен:

«Не осилите! Сорветесь! Провалитесь! Покупайте-ка лучше трактора у американцев! Технически невозможно осилить десять тысяч!»

— Не знаю, готовы ли вы технически овладеть десятитысячной программой,— сказал тогда Сергей Миронович Киров,— но коммунистически вы к этому готовы...

Коммунистически! А мы тогда так понимали: дадим трактора — жить колхозам, не дадим — не жить нашей стране самостоятельно.

А легко ли было? Брак лихорадил цеха. Сотни блоков из литейной шли под копер. Брак, брак, брак — конца не видно было этому браку. Уже ухмылялись маловеры: не мы, мол, предсказывали? Ох, и разозлился же я тогда! Да что же, думаю, за чертовщина, так-таки и опростоволосимся с блоками? Власть взяли, заводом овладели, пятилетку на весь мир объявили, а на технике споткнемся? И вот подобрал я дружков, вклинились мы в эти блоки и придумали способ: гужоны ставить под клапана. По нынешней мерке — не хитрое изобретение, но тогда оно выручило завод, да и американцы — и они переняли у нас этот опыт. А мы уверовали! Не только, мол, в политике, но и в технике нет таких крепостей, каких бы не одолели рабочие, если они хозяева завода и берутся за дело коммунистически.

Не десять — двенадцать тысяч тракторов выпустили мы в тридцатом году! Еще через год рапортовали о тридцать четвертой тысяче. А тем временем вступил в строй Сталинградский завод. Полегшало. Всем миром собрались путиловцы и написали «Отчет «Красного путиловца» рабочему классу и трудящимся всех стран». Да, так в точности и было написано: «трудящимся всех стран»! И хотя писали мы о тракторах, о пятилетке, о буднях, но когда сейчас перечитываешь этот отчет, понимаешь, почему он назывался так громко. Путиловцы своим опытом говорили рабочим всех стран: да, коммунистически можно поднять отсталую, нищую, разоренную страну, не кланяясь капиталистам!

Так было, и все-таки, черт возьми, не умеем мы рассказывать молодежи о минувшем, о том, чего они стоили, великие наши победы. И не то что не умеем, а не учитываем, что молодежь-то смотрит на прошлое со своей колокольни, с нынешней высоты. Ну, а если с этой высоты глянуть, положим, на освоение трактора? Поймет ли молодой парень, какая это была мировая победа русского рабочего класса? Что значит освоить машину на современном советском, скажем, Кировском заводе? Да мы в прошлом году освоили без штурмов, без авралов, без громких рапортов пятнадцать разных сложнейших машин! «Эка невидаль, колесный трактор! — глянув с сегодняшней высоты, может подумать какой-нибудь юнец. — Подумаешь, колесный трактор! Да мы атомный ледокол строим! Мы синхрофазотрон, умнейшую машину, соорудили! На реактивных самолетах летаем! Луну свою запустили в небо! Можем ракету послать в любую точку земного шара! А то колесный трактор. Да их вон минский завод настрогал пятьдесят тысяч штук, и никакого шума в стране по этому поводу — малюсенькая заметочка в «Правде». Пятьдесят тысяч выпустили, за пятьдесят первую тысячу взялись — обычное дело...»

Обычное... Шел я тут как-то с работы, а впереди меня вышагивали два заводских паренька. «Наверное, десятиклассники», — так я о них рассудил почему-то. Разговаривали громко, как и положено молодым, и все посматривали в небо.

— Летит спутник? — спросил один.

— Летит! — кивнул другой.— В бинокль видно, а сигналы что-то притихли...

Ах, вы, думаю, дуй вас горой, милые вы мои недотепы! Да как же это вы обыкновеннейше говорите о новой Луне? А глянули бы вы на нее, скажем, из двадцать девятого года!

И снова мне вспомнилось дав-

нее. Инженер прибыл тогда к нам из-за океана. Бог его ведает, каков он был из себя, мужик этот, мистер Мак Грегор. То ли от души он хотел нам помочь, то ли ждал, когда наконец эти большевики провалятся со своими тракторами, а Россия будет покупать машины у Форда? Не буду грешить, не знал я его мыслей, но держался он, замечу, с гордецой, словно бы сказать хотел: «Эх, вы, приятели! Собираетесь коммунизм строить, а трактор-то ваш как называется? «Фордзон-путиловец»? «Путиловец», но все-таки «Фордзон», родной брат американского».

А мы и не отрекались! Да, в ту пору Америка была уже передовой страной, ездила на автомобилях, освещалась электричеством, копала землю экскаваторами, а мы пробавлялись телегой, лучинушкой, а котлованы на первых стройках рыли лопатами. И не отрекаемся: да, кое-что заимствовали из американского опыта! Не бесплатно, конечно, заимствовали, за деньги. Но ведь и не без отдачи! Прошли годы, и мы сами можем подучить американцев. Милости просим, мистеры! Приезжайте покупать наши турбобуры, обозревайте нашу атомную электростанцию да «ТУ-104» — у вас таких нет.

Где он сейчас, мистер Мак Грегор? Может, и в живых его нет, а может, сидит где-нибудь в Детройте и ловит в бинокль наш спутник. Ну, что ж, ловите на доброе здоровье! Можете по нашей Луне изучать свое небо! Мы за это не берем платы. Ловите, но знайте, что запустили его те самые русские рабочие люди, на которых вы еще тридцать лет назад смотрели, а может, и сейчас смотрите, с гордецой, с превосходством и которые стали признанными учителями просвещенного мира.

А нашим бы молодым людям я так сказал: смотрите на спутник? Радуетесь? Так поклонитесь в ножки героям первой пятилетки, малограмотным, бездипломным, неказисто одетым!.. Поклонитесь им! Они имеют к спутнику самое, как говорится, прямое отношение.

* * *

Жизнь так переменилась, что, ей-же-ей, трудно, почти невозможно найти какую-то одну мерку, которая бы вобрала в себя все. Станешь готовиться к докладу либо к речи на митинге. Перевopошишь газеты, журналы, справочники. На чем остановиться? Какие цифры взять во внимание? Сказать, что мы в сорок шесть раз больше выпускаем продукции, чем в семнадцатом году? Но все ли выразит эта емкая цифра? Продукции. Да ведь какой продукции? Пеньки? Леса? Все же мы делали заново: трактора и тракторные заводы, автомобили, самолеты, турбины, электростанции, комбайны... И опять-таки: где делали? За тридевять земель от Москвы, в глухомани, строили города и настроили их что-то около тысячи. Добывали нефть там, где и запаха ее не ведали! Сеяли пшеницу на вековой ковыльной тверди! Соединяли каналами дальние моря и устраивали новые моря на сухом месте! В неграмотной стране открывали школы и институты! Сорока разным народностям дали письменность и открыли академии наук там, где и школ-то порядочных не было в царское время...

Все переменилось в стране: природа, города, заводы, села, реки... И люди переменились. Но вот что осталось у нас нетронутым с семнадцатого года — верность наша! Верность той правде, за которую гибли наши путиловцы под Красным Селом; верность той правде, во имя которой переносили мы все: и нелегкий труд, и лишения, и беды, и войны; верность той правде, за которую умирали и не сдавались осажденные гитлеровцами ленинградцы; той самой правде, которой изменили троцкисты, зиновьевцы, правые. Словом, верность той правде, которую оставил нам наш Ильич, наш Ленин.

В прошлом году я был на двадцатом съезде партии, а потом участвовал в работе четырех пленумов Центрального Комитета. И вот тут-то еще раз я вспомнил нашего Кирова и великолепные слова, которые сказал он на семнадцатом съезде: «...Хочется жить и жить...»

Именно такое чувство испытал и я, хотя и съезд и пленумы, сказать попросту, были очень строги, резки, разговор на них шел лобовой, открытый и суровый.

Уже потом, после пленумов, читал я в газетах, что на Западе всевозможные «знатоки» русской жизни укоряют нас, советских коммунистов, за нетерпимость к критике... Надо же выдумать такое! Да кто же еще глубже, резче, честней критиковал нас, как не мы сами! Кто еще с такой беспощадностью и смелостью вскрывал все дурное в нашем обществе, кто еще так открыто говорил народу правду, как не сама партия и ее ЦК?!

Поначалу, признаюсь, меня даже несколько удивил тон декабрьского и февральского пленумов. Обсуждались вопросы промышленности. А как раз в этом — в промышленности и в технике — мы достигли самых громких успехов! Ну, с сельским хозяйством — это все мы знали и видели — у нас был период ошибок и неудач. А в промышленности? Победы величайшие! А вот пленумы, несмотря на это, пошли с самого начала на высшем критическом уровне. И хочется сказать всем, кто упрекает нас в нетерпимости к критике: узнайте-ка брод, раньше чем соваться в воду.

И я выступал на пленуме. Говорил без регламента, да, признаюсь, и без бумажки, так же, как выступал на заводских собраниях. Сказал об изобретательстве. И по сей день мало у нас в этом деле порядка! Говорил и о том, что вообще надо пощедрее поощрять и награждать передовых рабочих. В деревне вон сколько народу с Золотыми Звездами, а на заводах-то их раз — два и обчелся. Словом, откровенно высказал то, что слышал в цехах, что тревожило меня самого, и других коммунистов, и беспартийных рабочих.

Но вот что интересно. Хотя и прошли пленумы на высоком критическом уровне, хотя и признали мы, что система управления заводами устарела и надо ее менять, словом, несмотря на все горькое, что мы высказали и выслушали, расходились участники пленумов удивительно приподнятые и радостные. И я с нетерпением рвался домой. Честное слово, руки чесались, хотелось сделать что-то большое, дорогое, необыкновенное. Приехал и так принялся за свою фрезу, что к сороковой годовщине наша бригада дала заводу полтора миллиона рублей экономии от изобретений! Но это же не все! Фрезы наши вошли в государственный стандарт, разошлись по заводам, и уже подсчитано, что дадут они стране огромную экономию.

Но я не об этом толкую. Другое интересно: почему такой подъем в людях вызвали эти очень критичные и суровые пленумы ЦК? Да потому, что мы по-хозяйски критиковали недостатки! По-хозяйски, по-ленински!

Не для того же только, чтобы вскрыть дурное, собирались пленумы ЦК, а для того, чтобы двинуть вперед наше дело! Не для того, чтобы охаять министерства, собирались мы, а для того, чтобы найти новые, лучшие формы управления, которые, как бы сказать, соответствовали текущему моменту!

И ведь нашли эти формы! А как нашли? В феврале пленум ЦК, посоветовавшись с народом, решил создать совнархозы. Уж, кажется, обдумали все, обговорили, решили. Нет, вопрос был вынесен на всенародное обсуждение. На все-на-род-ное! У нас в Ленинграде выступило на собраниях полмиллиона человек. Только собрав да изучив миллионы мнений, Центральный Комитет и Совет Министров СССР вышли на сессию Верховного Совета. И вот мы создали совнархозы. Меньше чем за полгода перестроили сверху донизу управление промышленностью. Вот это, по-моему, и есть настоящая критика: отбросили устаревшее, нашли новое...

Идем и идем вперед, и что ни день, то неуемнее наши люди! Ведь вот бывает: вернешься из поездки, зайдешь в цех, обступят тебя рабочие, и начинается разговор.

— А гляди-ко, Якумыч, ведь вот поругиваем мы наши учреждения: грешны, мол, в бюрокра-



На том месте, где в 1917 году перед рабочими Путиловского завода выступал В. И. Ленин, собрались молодые кировцы. Внимательно слушают они рассказ старого путиловца Михаила Гавриловича Алексеева о его встречах с Владимиром Ильичем.

Фото Б. Уткина.

тизме. Но учреждения-то наши? Собственные? Может, пособим им? Почему бы, допустим, не послать на службу в учреждения кое-кого из нашего цеха? Ребята есть грамотные, толковые, да и у станков постояли,— они волокиты не разведут. Как смотришь?

Слушаешь, слушаешь людей, и душа радуется: да как же он широко смотрит, рабочий наш человек, как он бережет то, что завоевано, как беспокоится о том, чтобы было лучше в стране! И еще думается: да потому они так и смелы в суждениях, наши люди, что видят — партия прислушивается к голосу народа. Что ни месяц — идут совещания рабочих, колхозников, инженеров с участием руководителей государства. Члены Президиума ЦК ездят по стране, не раз бывали они у нас на заводе, в цехах, у рабочих мест. И не это ли общение с народом помогает Центральному Комитету ставить и решать острейшие житейские вопросы, волнующие людей!

И горько было мне, рабочему человеку, слушать на июньском пленуме ЦК Молотова, Кагановича, Маленкова, оторвавшихся от народа. Как жалки были их претензии на руководство страной! И пленум сказал свое слово! Так было и всегда будет с теми, кто отрывается от масс, теряет ориентировку, перестает верить в силы своей партии.

* * *

Стареешь и все чаще думаешь о наследниках. Поспорили мы недавно с одним дружком.

— Эх,— говорит,— Якумыч, гляжу я на нынешнюю молодежь, и сердце заходится: как мы ее избаловали! Вон погляди: мой внук растет — чистейший лоботряс.

— Ну, это ты зря,— говорю,— по своему внуку судишь о молодежи. На мой взгляд, молодежь славная! Ты гляди, какие к нам идут грамотеи! А как учатся! Около тысячи студентов на заводе! Когда еще, в какие времена путиловцы так тянулись к науке? Ты на внука глядишь, а я гляжу на Колю Цабунина: пацанишечкой пришел в цех, а как взялся! Институт закончил, стоя у верстака, технологом стал, сорок предложений подал. А десятиклассники? Мы-то с тобой много разумели в их годы?

— Да разве я про грамоту?! — не уступает дружок.— Ты что, забыл, как покойный Егор Власов, рабкор наш, писал:

> Хоть читаю плохо,
> Пишу неумело,
> Но зато на свете
> До всего мне дело...

До всего! Смекаешь? А нынешняя молодежь? Мало она черного хлеба ела. Вот другой раз и не ценит того, что ей отцы и деды добыли. А им завод-то вести, молодым!

Частенько приходится слышать нарекания на нашу молодежь: и изнежены, дескать, и избалованы. А я не горюю! То есть не то, чтоб я не видел белоручек среди молодых людей. Видел, конечно. Так это же не молодежь — накипь! Она бывает в любом кипящем котле.

А кому мы вручим свое заводское знамя? Обдумайте! Кто несет заводское знамя? Старики? Молодые? Да нет же! Коллектив его несет, коллектив! А он не старый и не молодой, он вечный, неумирающий.

— Ну, как? Прикинь,— толковал я дружку.— Прикинь-ка, Петрович... Разве в один день, по звонку сменит нас с тобой молодежь? Не так же бывает в жизни! Вот ушли на пенсию Александр Иванович Рыбаков, Николай Васильевич Кукушкин, Михаил Павлович Решетов, и в те же дни приняли на завод десятиклассников. Так разве эти десятиклассники заменят ветеранов? Мы же их заменим, второе поколение, бойцы первой пятилетки! А мы уйдем — наше место займут великолепнейшие ребята — фронтовики последней войны. А к той-то поре какой дивный из нынешних десятиклассников подрастет подлесок!

Нет, не тревожусь я за будущее, потому что жив, здравствует, бережет традиции старших неумирающий путиловский рабочий коллектив. Кого он не переварил! Кого не воспитал! Разве в семнадцатом году наш завод поголовно состоял из большевиков? Нет же! И меньшевиков, и эсеров, и колеблющихся — кого только у нас не было! Но коллектив неотступно шел за большевиками, и притирались к нему, к коллективу, твердели на ногах колеблющиеся. А в первой пятилетке? Все были ударники? Опять-таки нет! Были и лодыри, и разгильдяи, и кулачье проникало к нам. Но коллектив неотступно шагал за партией, лупил почем зря фракционеров, и опять-таки подравнивались к нему колеблющиеся, перевоспитывались несознательные! А перед войной? Как обновились у нас кадры! Завод наполовину состоял из «желторотых», из тех, кто не нюхал пороха войн, не знал героики первой пятилетки. А грянула война — и как показали себя «желторотые», оперившиеся в коллективе? Пять тысяч пятьсот снарядов выпустили немцы по заводским цехам, сотни бомб и мин обрушили на наши головы, и никто не сбежал, не струсил, не бросил передовую. Ведь передовая проходила по цехам! Гибли в окопах кировцы-ополченцы, падали в цехах сраженные осколками токари и изнуренные голодом сталевары, а не сдавались. Это я авторитетно говорю; сам всю блокаду был на заводе, руководил участком, гнал к фронту снаряды для «катюш».

Таким он и будет, вечный рабочий коллектив. Но он будет лучше, потому что на смену нам идет образованнейшая молодежь. Закалки у нее не хватает? А мы-то зачем? Закалим! Сорок лет... Как распахнулись в мир наши ворота! Как выросла дружная наша семья! Придешь на завод, и непременно тебе скажут: такой-то уехал в Китай, такой-то воротился из Польши, этот отправился в Чехословакию... Сам я побывал в Югославии, гостил у немецких друзей. А пройдите днем по улицам — как часто слышится дружеская иноязычная речь! И сейчас, в канун сороколетия, со всех концов света едут к нам гости. Ну, что ж, отчитаемся еще раз перед мировым пролетариатом за то, что сделала для коммунизма наша страна за сорок трудных и славных лет. А сами придем в этот день к Мавзолею и скажем нашему Ленину:

— Справились, дорогой Владимир Ильич!



ТРИ ПРИВЕТА ИЗ ИНДИИ

Ходжа Ахмад АББАС

Мне было всего несколько месяцев, когда в Европе началась первая мировая война. Много бедных крестьян из нашей провинции было призвано в британскую армию. Многие из них умерли на чужбине — во Франции или Германии, — защищая интересы хозяев-империалистов. Те, кто остался в живых, возвратились в Индию в 1918—1919 годах. К тому времени мне уже было около пяти лет, и я довольно живо помню возвращение этих солдат с войны. Во время остановки в городе солдаты всегда были окружены детьми да и взрослыми, которым хотелось послушать страшные и удивительные рассказы про войну и про чужие земли...

Вот от этих-то солдат я и услышал впервые о стране Русь, где произошло что-то необычайное, что называли «революция». Простые крестьяне, которых сделали солдатами, сами мало понимали, что это за революция, и еще меньше могли объяснить другим, но, тем не менее, можно было понять, что в этой стране Русь народ сверг царя-тирана.

«А кто же теперь у них будет царем?» — спрашивали солдат.

«Как ни странно, братья, — отвечали солдаты, — говорят, у них никогда не будет больше царей и страной будет править сам народ. Теперь в Руси создано правительство рабочих и крестьян».

Это было чем-то новым и пугающим простых жителей нашего городка и крестьян, которые слушали эти рассказы. В то же время они восхищались тем, что слышали. Они задавали солдатам множество вопросов: «Скажи, брат, где же эта страна Русь?», «Неужели правда, что крестьянин может стать хозяином страны?», «Есть ли у них помещики и ростовщики, как у нас?». И когда они узнавали, что в новой России помещики изгнаны, а их земли розданы крестьянам, их глаза так загорались, словно эта далекая и таинственная страна становилась вдруг совсем близкой им и их жизненным интересам.

Теперь, спустя 38 лет, я все еще помню одного старика-крестьянина. Его усталое, морщинистое лицо светилось особенным интересом, когда он слушал рассказы о России и революции. Он грустно покачивал головой и говорил: «Я не увижу эту страну, но, быть может, этот ребенок увидит ее»,— и он указывал взглядом на меня. Затем он обратился ко мне со словами, значение которых я понял лишь много лет спустя. Старик сказал мне: «Когда ты вырастешь, сынок, поезжай в страну русских и узнай все про революцию и про то, как крестьяне получили землю. А когда будешь там, передай их народу салям алейкум от Чафура из деревни Мадлауда, района Панипат».

* * *

Вскоре после первой поездки в Советский Союз в 1954 году я встретил моего старого друга — поэта Маджаза. Мы вместе учились в Алигархском университете еще в тридцатых годах. Мы оба принадлежали к группе прогрессивных студентов и вместе мечтали о свободе и социализме для нашей родной страны. Затем я переехал в Бомбей и стал журналистом, а Маджаз вернулся в свой родной город и посвятил себя целиком поэзии. Мы виделись редко, но следили за литературной и политической деятельностью друг



друга. Я читал каждое стихотворение, написанное Маджазом. Мне трудно было поверить, что мой университетский товарищ, над стихами которого мы нередко трунили, стал теперь одним из лучших современных поэтов на языке урду.

Поэзией Маджаза восхищаются не только высокообразованные люди и литературные критики. Некоторые из его революционных песен стали любимыми песнями рабочих, боевой дух которых он так правдиво воспел в своих стихах. Он написал знаменитую поэму «Песнь рабочих», в которой выразил твердую решимость рабочего класса построить социализм во всем мире. В этой поэме упоминается и о революции в России:

Видна Россия всем материкам:
Лежат во прахе царские
знамена,
И гордо по поверженным
шелкам
Идут на бой
рабочие колонны.

В своей поэме «Революция» он воспел Великую Октябрьскую социалистическую революцию:

Идут рабочие.
Рабочие поют.
И революция, грядущего
предвестник,
Шагает в атакующем строю,
А с нею — новые, неслыханные
песни.

И вот этого поэта и друга я встретил снова после нескольких лет разлуки. Я был поражен, увидев его. Он казался совсем больным. Но когда он пел свои знаменитые революционные песни (выступая на собрании рабочих и молодежи), в его голосе звучала прежняя сила.

Он знал, что я посетил Советский Союз, и когда мы встретились, он не хотел говорить ни о чем другом. Несмотря на болезненное состояние, он не спал всю ночь, слушая мой рассказ о том, что я видел в Стране Советов. И когда на рассвете я кончил говорить, он сказал мне: «Аббас, если ты снова поедешь туда, передай советским людям и советским поэтам мою любовь». Затем с какой-то необыкновенной улыбкой добавил: «Нет, самому мне уже не придется поехать туда, но, может быть, мои стихи когда-нибудь дойдут до них. Так передай же им мои стихи и мою любовь».

Теперь Маджаза больше нет. Он умер. Но его стихи живут в сердцах индийского народа. И советские люди тоже читают их.

* * *

В рабочем квартале Бомбея тысячи людей, главным образом крестьяне Махараштра, пришедшие сюда в поисках работы, сидят на земле на площади, которую называют «Площадь рабочих». Затаив дыхание, они слушают песню, которую поет на импровизированной эстраде худой, небольшого роста человек с темным лицом. Он поет высоким голосом, как обычно поют певцы, исполнители махараштрских легенд. Но содержание его песен новое, новое, как сама революция. Рабочие напрягают слух, чтобы разобрать непривычные еще для них имена.

Мы славим знамя Ленина.
На нем
Пылает пламя вечное
марксизма.
Мы имя Ленина
В легендах воспоем,
Как звездный свет
неугасимой жизни.
Для угнетенных
в имени его
Надежды древние
воскреснут и сольются.
В нем —
Завтрашнего мира торжество
И властный гром
победных революций.

Это был год войны, когда Гитлер бросил свои орды на Советский Союз, и певец предупреждал фашистских захватчиков:

Вы на Россию руку занесли.
Но берегитесь!
Страшен гнев народов:
Рабочий люд во всех концах
земли
Поднимется
за родину Свободы.
Я вижу чудо:
В бой идут полки,
И, точно в дни Октябрьского
сражения,
Над ними
тень от ленинской руки
Простерта
в окрыляющем
движенье.
И голос Ленина ведет солдат
на бой.
Воскресший?
Нет, неумерший.
Живой.

В заключение он запел высоким, звенящим голосом:

Рабочих трудовые племена!
Плечом к плечу вперед
шагайте смело!
Ведь сила на земле
не рождена,
Чтоб нас в пути
остановить сумела.
В сиянье солнца
веря наперед,
Держите строй.
Вперед! Всегда вперед!

Раздался гром аплодисментов, и люди окружили певца. Они заговорили с ним, как со старым другом. Да, он был их другом и товарищем. Певец и поэт, он тоже был рабочим. Он работал на текстильной фабрике, пока хозяева не выгнали его за то, что он коммунист. Теперь он, рабочий организатор, рассказывает в песнях о социализме, о солидарности рабочего класса, о Ленине, о Великой Октябрьской революции.

Я познакомился с ним — его зовут Анна Бхау Сатхе — за день до моего отъезда в Москву. И он сказал мне: «Может быть, вы будете в Москве на праздновании 40-летия Великой Октябрьской революции. Мне бы тоже очень хотелось быть там, чтобы в этот великий день поздравить советских друзей и петь вместе с ними. Передайте им мой привет, особенно рабочим и поэтам».

И вот я передаю все три привета, а через них братские поздравления всего освободившегося от колониального ига индийского народа советскому народу по случаю сороковой годовщины Великой Октябрьской революции.

На свет Октября поднимаются угнетенные народы колоний. Этот свет видят пробуждающиеся к самостоятельной жизни Азия и Африка.

За четыре десятилетия изменилась политическая карта мира. Во многих странах, где еще недавно владычествовал иностранный империализм, крыши зданий национальных парламентов осенили флаги новых независимых республик.

Всепобеждающий пример страны Октября дает силы угнетенным для борьбы за независимость, раскрепощенным — за счастливое будущее.

И сегодня снова, как сорок, двадцать и десять лет назад, народы колониальных и зависимых стран, как и народы стран, уже сбросивших колониальное иго, обращают к нам взор и сердце, ибо снова дыхание страны социализма входит в их дома надеждой, уверенностью, завтрашним днем.

Рисунок Б. КОНДРАТЬЕВА.

ЭТО УЖЕ СДЕЛАНО...



...Звонок по телефону. С плохо скрываемым удовольствием Иван Афанасьевич Бондарчук, секретарь Винницкого райкома партии, говорит:

— Да, ошибку допустили!

— Но почему же тогда веселый голос?

— Маленько не рассчитали... Обещали, что колхозы района поставят по 100 центнеров мяса на 100 гектаров угодий за весь год, а сдали раньше, к 20 октября сдали. Не поругает нас Родина за такой подарок к 40-летию?

Читатели «Огонька» уже знают об одном из самых смелых обязательств в соревновании с Америкой — обязательстве винничан (см. очерк «100 на 100» в № 39 журнала). И кто не порадуется тому, что не отдельные колхозы, а целый район уже добился такого успеха в производстве мяса в нынешнем юбилейном году, какого многим почетно добиться и в 1960-м!

Бондарчук продолжает:

— У нас не только такая приятная «ошибка». Кругом «просчет»! Колхоз «Урожай» тоже «подвел». Обещал по 350 центнеров сахарной свеклы, а накопал по 440 с гектара по всему колхозу. И в Сосонке есть «просчет». Да и весь район взялся вырастить в среднем по 250 центнеров с гектара, а будет, очевидно, не меньше, чем по 270,— больше, чем в любом году за все 40 лет.

Радостны всем эти «просчеты». Энергия людей, воодушевленных партией, оказалась так велика, что результаты работы превзошли даже смелые ожидания,— взволнованно делится Бондарчук.— В районе сейчас много думают над тем, как проявить еще больше уважения, внимания, заботы к замечательным труженикам, одержавшим такие трудовые победы. Войдут к празднику в строй новые клубы, дома культуры. Будут праздничные гулянья, вечера. Правления колхозов проверяют, в каждом ли доме достаток, выданы ли всем заработанные продукты, деньги...

И хотелось что-то еще к этому добавить,— рассказывает далее Бондарчук.— Люди, которые так порадовали Родину итогами своего вдохновенного труда, получат памятные, именные подарки в честь 40-летия. Девяностолетнему Филиппу Тимофеевичу Корчевому — ветерану-строителю колхоза в Зарванцах — подарят, например, его портрет. Но висеть он будет в новом колхозном Доме культуры: пусть знают это имя и грядущие поколения. Нине Бондарчук, комсомолке, замечательному животноводу, отец которой погиб на фронте, колхоз решил подарить новую хату. В колхозе «Правда» Надежда Данилевич, закончившая десятилетку и уже два года отлично работающая на ферме, получит именные ручные часы. Такие же часы будет носить и славная наша пятисотница Настасья Беланчук из Сосонок. Всех подарков не перечесть...

И еще одна черточка праздника. Есть и такие винничане, которые воздвигли в подарок Родине новую комсомольскую шахту в Донбассе — «Винницкую». И о них не забыл колхоз. В Донбасс полетели праздничные поздравления «с добавками», а «добавки» такие: патефоны, аккордеоны, часы, приемники, отрезы и две тонны душистых винницких яблок...

Александр МИХАЛЕВИЧ

Киев.

ВЫСОКАЯ РОЛЬ

В эти дни во всех концах Китая развернулась подготовка к празднованию сорокалетия Октябрьской революции.

Готовится и театр «Столица».

В китайских театрах есть такой порядок: перед постановкой очередной пьесы каждый актер пишет на специальном листе, какую роль он хотел бы сыграть. На этот раз актер Дяо Гуан-тянь не написал ничего. Театр готовил постановку «Человек с ружьем», в которой Дяо мечтал сыграть роль Ленина. Он думал об этом уже давно, но неизменно заставлял себя «не заноситься так высоко». Высота казалась недосягаемой...

Пьесу приняли в театре как что-то очень дорогое, как заветный подарок. Но советская пьеса была не только радостью, это было серьезное испытание. Играть хотели все. Восемь артистов оспаривали право сыграть матроса, охраняющего Ленина. Когда все женские роли были уже распределены, известная актриса Шу Сюэнь попросила: «Позвольте мне участвовать хоть в массовых сценах!» Ей дали роль машинистки, которая в пьесе произносит всего два слова. И все-таки актриса была довольна. Каково же было счастье Гуан-тяня, которому сказали: он будет играть Ленина!

Образ Ленина появлялся на театральных подмостках Китая дважды. Собственно, если говорить точно, подмостков не было. Образ Ленина возникал перед солдатами Освободительной армии в Яньани и Хэбэе, под щелканье винтовок и треск пулеметов. Там шел спектакль часто под открытым небом или в тесном сарае при свете масляной лампы, и черты вождя революции воскресали, созданные не столько гримом и даже подчас не актерским мастерством: вдохновенный труд и светлая любовь политпросветчиков и бойцов делали Ленина живым.

И вот теперь, перед 40-й годовщиной Октября, один из лучших театров страны вернулся к той же пьесе. Времени было мало, всего триста рабочих часов. Репетиции шли ежедневно, а то и по два раза в день. Даром не пропадало ни минуты.

Дяо Гуан-тяню сравнительно быстро удались две сцены: Ленин у телефона и в штабе. А вот разговор с Шадриным, важнейшее место в пьесе, пока давался с трудом. Как соединить воедино вождя и товарища, величайшего гения и «самого человечного человека»? Это короткая сценка — всего пять или шесть минут. Артист понимал, что, только наполнив ее громадной убедительной силой, можно донести до зрителей цельный, живой образ Ильича.

Гуан-тянь работал вместе с режиссером Оуян Шань-цзунем. Они вместе разбирали материалы, присланные из Москвы Театром имени Вахтангова, изучали фотографии и кинокартины, слушали пластинки с речью вождя. Десятки раз вчитывались они в строки Горького о Ленине. Режиссер и актер понимали друг друга с полуслова.

Но когда казалось, что мысль, ищущая точную интонацию, верный ключ к акту, заходит в тупик, Оуян обращался к воспоминаниям. Он вспоминал, как двадцатилетним юношей в Шанхае увидел на экране «Чапаева» — это было его первое знакомство с Советской Россией. Люди расходились с сеанса тайком, чтобы не привлекать внимания сыщиков. Он вспоминал еще, как, скрываясь с партизанами во Внутренней Монголии, видел вдали, через границу, бойцов свободной Монгольской Народной Республики. «Мы близко от СССР»,— говорили тогда партизаны. А потом настало время, когда Оуян жил в гостинице «Москва», в номере, из окон которого видна Красная площадь— площадь, по которой ходил Ленин. Вечер каждый раз заставал его сидящим у окна...

И, вспомнив те дни, Оуян нажимает звонок, просит еще раз повторить сцену.

Теперь режиссер и актер знают, как показать встречу Ленина и народа.

А. ЛАРИН

Пекин.

ПРОЧНЫЕ ТРАДИЦИИ

Олег ГОМОЛА,

Генеральный секретарь ЦК Союза чехословацко-советской дружбы



Сорок лет тому назад в отрядах красногвардейцев, революционных рабочих, крестьян и солдат, боровшихся за победу революции в России, принимало участие больше 10 тысяч чехов и словаков. Еще и сегодня в Чехословакии живет 600 этих славных бойцов. Некоторые из них брали Зимний дворец, воевали в Кронштадте, в дивизии Чапаева, в 1-й Конной армии Буденного...

В годы Великой Отечественной войны мы освятили нашу дружбу вместе пролитой кровью. Советские люди принесли нам свободу, спасли наш народ от полного уничтожения, сохранили старославянскую золотую Прагу и ныне помогают при строительстве социализма.

Мы знаем, что основы нашей сегодняшней прекрасной и богатой жизни были заложены в дни Великой Октябрьской социалистической революции.

Велики перспективы развития Чехословакии на базе дружбы с Советским Союзом и другими странами народной демократии. При помощи СССР мы недавно пустили в ход атомный реактор, оканчиваем строительство циклотрона и в ближайшие годы построим первые объекты атомной промышленности.

Уже сегодня Чехословакия может гордиться тем, что жизненный уровень ее граждан — один из самых высоких в мире. И бесспорно, что в будущем мы докажем еще убедительнее полное превосходство социалистического строя над капиталистическим.

Прага.

СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ



БЕСЕДА С ТОВАРИЩЕМ ТИТО

Из секретариата Президента сообщили, что товарищ Тито примет корреспондента «Огонька» не в официальной резиденции, а у себя дома — Ужичка, 15.

Большой кабинет, широкое бюро, книги на этажерке. Товарищ Тито приглашает меня сесть за маленький круглый стол. Я задаю первый вопрос: прошу рассказать о влиянии идей Октября на революционное движение в Югославии.

— Во время революции, — отвечает товарищ Тито, — я был в Сибири, поэтому могу сказать только о времени после 1920 года, когда я вернулся в Югославию и познакомился с положением здесь и в других странах. Конечно, влияние Великой Октябрьской революции на Югославию было огромно. Во-первых, революция ускорила окончание войны. Империалисты пытались еще продолжать войну, но ничего уже не могли поделать: солдаты стремились домой.

Солдаты принесли домой лозунги о мире, о завоевании власти рабочими и крестьянами. Люди прислушивались к их рассказам, начинали думать, как бы и у себя сделать что-нибудь подобное, думали о восстании.

Конечно, условия у нас были не везде одинаковы. В Сербии, например, революционные настроения были слабее. Страна только что освободилась от оккупации. Крестьяне тянулись к земле, к мирному труду. А вот в Хорватии и Словении, где рабочий класс был сильнее, а крестьяне в отличие от сербских не имели никаких демократических прав, развернулась настоящая революционная борьба. В Загребе восстали солдаты, пришедшие из Галиции. Их подавила югославская армия. В некоторых районах Хорватии — в Славонии — восстали крестьяне. Их тоже подавили. Хорватская буржуазия тогда очень испугалась этого восстания, потому что оно было направлено не против сербского господства, а прямо против помещиков, за землю, за аграрную реформу. Вот вам влияние Октябрьской революции!

Я сказал, что восстания были подавлены. Но лозунги восставших остались. Под этими лозунгами боролась Коммунистическая партия Югославии и тогда, когда она была легальна, и после ее запрещения.

В Югославии после Октябрьской революции под прямым ее влиянием образовалась по тем временам, можно сказать, самая сильная в Западной Европе коммунистическая партия. Она провела в парламент 59 своих депутатов. Рабочий класс был хорошо организован в профсоюзы, и поэтому коммунистическая партия имела крепкую основу.

Октябрьская революция и дальше оказывала громадное влияние на революционное движение в Югославии, на дальнейшую деятельность компартии. Югославская коммунистическая партия черпала свои идейные принципы из опыта Октябрьской революции, из учения марксизма-ленинизма. Потому-то, несмотря на террор, Коммунистическая партия Югославии могла руководить рабочим классом, крестьянством, национальным движением. Потому-то КПЮ во время второй мировой войны так быстро организовала народно-освободительную партизанскую борьбу против фашистских захватчиков, хотя сама коммунистическая партия тогда была немногочисленна.

Четыре года продолжалась эта тяжелая, кровавая борьба, и такую борьбу могла вести только партия, вдохновленная Великой Октябрьской революцией.

Поэтому, я подчеркиваю, Октябрьская революция для нас имела огромное, решающее значение. Не было бы Октябрьской революции, невозможно было бы организовать отпор врагам, о котором я говорил, невозможно было бы и нынешнее социалистическое строительство в Югославии да и в любой другой стране.

Октябрьская революция открыла новую эру в истории человечества.

Я отвечал на ваш вопрос и поэтому говорил только о Югославии, но, конечно, Октябрьская революция оказала огромное влияние на революционное движение во всем мире. Особенно там, где был сильный и многочисленный рабочий класс. Возьмем Германию, Францию. Под влиянием Октября из рабочего движения всего мира выделилось революционное ядро. Это ядро — коммунистические партии. Они возглавили революционную борьбу. Не везде эта борьба кончалась победой. Но это уже другой вопрос, зависящий от многих конкретных условий и причин...

Я рассказываю товарищу Тито, что здесь, в Югославии, встретил многих участников Октябрьской революции и гражданской войны. В одном только селе Меленци, например, живет двенадцать человек, которые сражались под командованием Чапаева.

— Село Меленци? Да, знаю это село, — говорит товарищ Тито. — Участников Октябрьской революции и гражданской войны в России у нас много, особенно в Хорватии. Они в свое время были мобилизованы в австро-венгерскую армию, потом сдались русским в плен и во время гражданской войны приняли сторону Красной Армии.

— В Меленци мне рассказали, — говорю я, — что эти люди оказали большое влияние на жизнь своего села. Там была создана сильная коммунистическая организация.

— Да. Верно, — отвечает Президент, — но не только те, кто воевал в рядах Красной Армии, сделали в Югославии большое дело. Девяносто девять процентов тех, кто в то время просто находился в России, возвратившись домой, с одобрением рассказывали о революции: о том, как русские рабочие и крестьяне брали власть в свои руки, как отбирали землю у помещиков...

— Товарищ Тито, ведь и Вы в то время находились в России. Не расскажете ли о своем участии в революционных событиях?

Товарищ Тито смеется.

— Мое участие было очень скромным. Я попал в Россию как военнопленный. Лежал в госпитале, тяжело раненный. Оттуда отправили меня в лагерь Кунгур. Там и застала меня Февральская революция.

Как все пленные, я работал в Кунгуре на станции и через одного инженера был связан с рабочими железнодорожных мастерских. Ведь я слесарь-механик. Я часто приходил к ним, прислушивался к их разговорам. А потом рассказывал в лагере пленным, что это значит — свержение царя. Членом партийной ячейки я, конечно, тогда еще не был.

Но дураки-жандармы там, в Кунгуре, не очень-то разбирались, что такое революция. А так как я говорил против царя, они «на всякий случай» арестовали и меня. Несколько дней я просидел под арестом.

В июне же 1917 года я бежал из лагеря и стал пробираться в Петроград, мечтая устроиться там на Путиловский завод.

Добрался до столицы, а тут июльская демонстрация. Я пошел вместе со всеми. Демонстрацию расстреляли. Я бежал в Финляндию, но и там меня поймали. А так как я неплохо уже говорил по-русски, даже на вятском диалекте, то меня приняли за «опасного большевика» и посадили в Петропавловскую крепость.

Там меня продержали три недели, пока не разобрались, что я просто бежавший из лагеря военнопленный. Когда разобрались, спросили: «Что же ты раньше не сказал?» — и отправили меня обратно в Кунгур. Это было уже осенью 1917 года.

По дороге я снова бежал и стал пробираться где пешком, где поездом в Екатеринбург (нынешний Свердловск). Приехал туда днем, дошел до станции, а там на вокзале лестница такая была. Поднимаюсь я вверх по ступенькам и вижу: навстречу спускается бородатый солдат, который служил конвойным в нашем лагере и знал меня. Ведет он какого-то австрийского пленного. Мне деваться уже некуда. Я бочком, бочком мимо него, думаю, не узнает: ведь я в штатском; а он, старый черт, узнал и орет:

«Оська, куда ты?»

Я бросился вверх по ступенькам. Убежал. Только потом понял, что он, наверное, просто обрадовался, что знакомого встретил.

Товарищ Тито от души громко смеется.

— Из Екатеринбурга я поездом отправился в Омск. Долго ехал. В поезде шла драка, солдаты выкидывали из вагонов белых офицеров. Приехали ночью. Только я сошел с поезда, и сразу меня задержал солдатский патруль.

«Куда?»

«В город».

«Откуда?»

Я решил сказать правду и ответил, что я военнопленный, бежал из лагеря.

«Ну, ничего, товарищ! — смеются они. — Теперь Советская власть! Все в порядке!»

Смотрю я на них и вижу: красные ленты на шапках. Так я узнал, что произошла Великая Октябрьская социалистическая революция.

В Омске тогда формировались красногвардейские отряды из бывших военнопленных. Я записался в один из них.

Той зимой в Омске я получил карточку кандидата в члены партии большевиков. Принимали в то время не очень строго. Там существовала югославская секция компартии. В ней-то меня и принимали. Один товарищ, серб, помню, спросил меня:

«А кем ты был в Югославии?»

«Я был членом организации социалистической молодежи».

«Социалистической?! Как же ты мог?! Ты знаешь, кто такие социалисты? Знаешь?!»

Я его спрашиваю:

«А ты к какой партии принадлежал в Югославии?»

«Я? Я ни к какой партии не принадлежал».

Между прочим, этот товарищ жив и всегда смущается, когда я ему напоминаю об этом случае.

Ну вот, — продолжает товарищ Тито, — весной 1918 года наш отряд отправили на станцию Татарскую, но мы до нее не доехали, пришлось вернуться. Тогда на станции Марьяновка стояли белочехи и никого не пропускали... Потом мы вступили в бой с белыми. Четыре дня шел бой. Силы были неравными, и нас разгромили. Я убежал в деревню неподалеку. Но туда пришел карательный казачий отряд: искали красных. Я убежал в другую деревню, верстах в шестидесяти от Омска. Стал работать там механиком на мельнице. В Омск я вернулся уже зимой 1919—1920 годов, когда туда пришли большевики. А в 1920 году, в августе, вернулся в Югославию.

Вот и все мое участие в гражданской войне. Но важно, что я был свидетелем всех этих событий, очень многое видел. Когда работал механиком, — продолжает товарищ Тито, — я не терял связи с рабочими. Мне нужен был мазут, а рабочие на станции в Омске продавали его из-под полы. Вот под таким предлогом я часто наведывался в город, встречался с железнодорожными рабочими.

Был в курсе всех событий. Помню, как в конце 1918 года восстали омские рабочие. Их подавляли казаки. Руководителей расстреливали. Одного рабочего по имени Саша (фамилию его я забыл) тоже расстреливали. Но его только ранили, и ночью крестьяне вытащили его из могилы. Он потом у меня до конца войны прятался, кочегаром на мельнице работал.

Революция, гражданская война были огромным событием в жизни и психологии людей. Менялись взгляды, мировоззрение. Помню, как менялись настроения сибирских крестьян. В начале гражданской войны они были против большевиков. Это объяснялось тем, что земли у крестьян в Сибири было довольно много, особенно у старых поселенцев: по пятнадцати десятин на душу. А Колчак пустил слух, будто большевики собираются отобрать все. Вот и шло большинство крестьян за эсерами, так как те обещали земли еще добавить.

Но когда Колчак стал отбирать хлеб у крестьян и давать за него ничего не стоящие бумажные деньги, а потом еще объявил мобилизацию, вот тогда-то настроения стали меняться.

Никто не хотел воевать. Крестьяне убегали, прятались. Даже я прятал несколько человек. Казаки приходили, спрашивали у крестьян, где их сыновья, и пороли... Точно так же у нас в Югославии поступали четники.

Это озлобило крестьян.

А нас, бывших красногвардейцев, прятавшихся там, было много, и мы убеждали крестьян, что большевики не отберут землю, наоборот, беднякам дадут больше.

А когда большевики пришли, то обнаружили для себя хорошую почву. Многие крестьяне добровольно пошли в Красную Армию...

А как зверствовал Колчак! — почти шепотом произносит товарищ Тито. — Страшно! На Иртыше расстреливали людей. А была зима, лед толстый. Еду я однажды на санях и вижу: кучи снега, а из-под них торчат человеческие ноги. Так всю зиму и не убирали трупы.

В ноябре 1919 года стали в нашем районе появляться карательные отряды. Они гуляли по тылам колчаковской армии и зверствовали. Мы поняли: раз они пришли, значит, фронт дрогнул, отступают белые. И действительно, скоро к нашему селу приблизился фронт.

Белые меня арестовали. Видят, человек не похож на крестьянина, сомнительный. «Механик? Значит рабочий? Ага, большевик». И арестовали. Посадили под стражу в дом, где помещался штаб колчаковской дивизии.

Когда фронт подошел к самому селу, моя стража сбежала. Дело было ночью, я этого не заметил. Сижу в камере, вдруг входят трое.

«Есть кто?» — спрашивают.

«Есть», — отвечаю.

«Кто такой?»

«Военнопленный».

«А ну, зажги свет!»

«Спичек нет».

Тогда они сами зажгли. Смотрю: красноармейская форма. Но молчу, потому что знаю, что белые иногда перед отступлением нарочно так переодеваются и ходят по домам, выясняя настроения. А тех, кто радуется, расстреливали.

Я, значит, молчу.

«Ты что, боишься? Мы же красные! Большевики... Видишь форму?»

«Вижу».

«И деньги вот наши, настоящие. Смотри, не веришь?»

«Почему же, верю».

«Вот черт, ничему не верит!» — рассмеялись они и ушли.

А наутро я узнал, что действительно в село вошли красные.

После этого я вернулся в Омск. Там секретарем обкома был товарищ, которого я, между прочим, в прошлом году здесь встретил. Он теперь стал ученым. Приезжал к нам, в Югославию, с делегацией инженеров-электриков. Его зовут Петр Иванович Воеводин. Интересная была встреча!..

Товарищ Тито улыбается, видимо, вспоминая эту встречу.

— А когда я был в Советском Союзе в 1956 году, — продолжает он, — я получил письмо от товарища, с которым подружился еще в 1916 году, работая в селе Каласеево, Ардатовского уезда. Его звали Граем, хороший парень! Сейчас он — председатель колхоза... Интересно было бы посетить все эти места, посмотреть, — задумчиво говорит товарищ Тито. — Давно это было, почти сорок лет. А будто вчера. Все, что тогда происходило, так хорошо помнится! Даже лучше, чем то, что было недавно. Эти воспоминания выкристаллизовались, потому что очень много для меня значили...

А какие трудности стояли тогда перед Советским государством! Я помню, когда пробирался через Петроград домой, недели три ехал поездом, выходил на станциях, разговаривал с крестьянами. Голод стоял страшный. Разруха. В Сибири-то хлеб был, а в Центральной России ни хлеба, ни соли.

Такие трудности могли преодолеть только люди, закаленные в борьбе, рабочие, прошедшие через 1905 год. Ведь крестьяне очень часто были колеблющимся элементом, а рабочий класс России по сравнению с крестьянством был тогда малочисленным. И все-таки рабочие смогли возглавить крестьянство, смогли стать руководителями борьбы. Тут видишь, какую огромную роль сыграли и Ленин и его соратники. Они подняли в рабочем классе веру в победу, смогли эту победу закрепить в таких трудных условиях, в которых, я считаю, не находилась ни одна страна в мире.

Ленин очень хорошо видел все эти трудности и знал, как подойти к их решению. Упорно, без колебаний преодолевал он все препятствия. А всякое колебание тогда могло быть опасным. Большевики возвратили народам мир, дали крестьянам землю. Этим они завоевали на свою сторону огромные массы трудящихся. Гениальная политика!

Товарищ Тито несколько секунд курит молча. Потом говорит:

— Конечно, празднование сорокалетия Октябрьской революции кое-кому не нравится. Но факт есть факт, от него не уйдешь.

— Еще и искусственный спутник Земли в этот день будет портить кое-кому настроение, — замечаю я.

— Да, и спутник, — говорит товарищ Тито. — Какие громадные достижения за сорок лет! Ведь в стране царила полная разруха, совершенно не было кадров, а теперь Советская власть пришла к такой высоте подготовки кадров, что даже самые большие критики — американцы — говорят: «Вот у них как кадры воспитаны, потому и успехи! А у нас совсем другое».

Президент смотрит на часы: прошло уже больше часа, как мы беседуем. Я благодарю его и спрашиваю, что хотел бы он передать читателям «Огонька».

— Передайте мои самые сердечные поздравления с сороковой годовщиной Великого Октября!

Г. БОРОВИК,
специальный корреспондент «Огонька».

Белград,
28 октября 1957 года.

Александр КОВАЛЕНКОВ



Есть такая партия!

Растерянность. Волненье. Крики с мест:
«Нет партии такой, что все осилит!..»
И возглас Ленина, простой и твердый:
«Есть
Такая партия!» — услышала Россия.
Как молния, ворвался он туда,
Где шастали разруха с голодухой.
И отступили горе и беда
Пред властью разума, огнем и силой духа.

По всем материкам летела весть
И разрасталась, как молва о чуде:
Такая партия, такая сила есть,
Что с войнами навек покончат люди.

И тот, кто был под номер нулевой
Солдатскою машинкою острижен,
И тот, кто демократией кривой
Был с королевской щедростью унижен,
Узнали, что опора есть у них,
Что будет биться сердце человека
Не для прироста прибылей двойных
В обеспеченье банковского чека.

Нам светопреставлением грозят
Владельцы смертоносных предприятий,
Но голос Ленина, как много лет назад,
Сильней молитв и радиопроклятий.
И не в тумане, не в метельной мгле,
А во главе решающего века
Такая партия, что всюду на земле
Все сделает для счастья человека.

Легенда



Земное притяженье нарушая,
Преодолев намеченный
предел,
Туда, где спит Медведица
Большая,
Ракетоплан стремительный
летел.

Он был лучами смелой мысли создан
И озарен величием труда.
Победоносно приближалась к звездам
Эмблема открывателей — звезда.

Над океаном жизни, над веками,
Опережая дней круговорот,
Летел не предусмотренный богами,
Подвластный человеку звездолет.

И, огибая дальнюю планету,
На Землю мчался радиосигнал.
Какое торжество в минуту эту
Конструктор за штурвалом испытал!

Но разве мог восторг его сравниться
С той гордостью, когда ему вослед
Сквозь глубь времен, омыв зарею лица,
Смотрели люди легендарных лет!

Они к папахам звезды пришивали,
Своим друзьям огонь дарили их
И у костра на фронтовом привале
Хвалили смелость правнуков своих.

Свадьба на Рыбальской



Юрий СМОЛИЧ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

1

Данило и Харитон с Флегонтом управились со всеми делами только после полудня, но выполнили все задания успешно.

На «первую чарку» пригласили десяток печерских парней. «Тройстую музыку» — цимбалы, скрипку и бубен — раздобыли задаром: свои же хлопцы! Добыли и ведерко водочки у пани Капитолины — только под Данилов пиджак и Харитонову гармонь.

Известили и председателя секции народного пения печерской «Просвіты» студентку Марину Драгомирецкую.

К их удивлению, студентка Марина Драгомирецкая прийти на свадьбу не отказалась и даже проявила по этому поводу пылкий энтузиазм. По ее словам, она с малых лет о том лишь и мечтала, как бы повидать настоящую народную свадьбу, во всей ее самобытности и богатстве фольклора и этнографии. А когда до ее сознания дошло, что свадьба будет не какая-нибудь, а революционная, без попа и церкви, то восторженная студентка назвала Данилу с Тосей «аргонавтами», трясла Даниле руку несколько минут, а Тосю обещала зацеловать до смерти и заявила, что их имена будут непременно записаны на мраморных скрижалях истории Украины.

Марина, хотя и закончила русскую гимназию и воспитывалась с детства в семье твердых российских традиций, говорила по-украински с каким-то особенным смаком: демонстративно, с вызовом, чтобы это слышали все и чтобы либо тут же начинали подражать ей, либо, наоборот, немедленно ввязывались в яростный спор по части украинско-русских взаимоотношений. Идея защиты прав несправедливо обиженной и обездоленной украинской нации овладела Маринкой еще в шестом классе гимназии, в нелегальном украинском гимназическом кружке, после чтения запрещенного шевченковского «Кобзаря». А полностью захватила ее эта идея со дня Февральской революции в России.

Итак, объявив Даниле, Харитону и Флегонту, что придет непременно и ни в коем случае не запоздает,— а это также было важно, ибо опаздывала она всегда и везде,— Марина помахала хлопцам ручкой, села на свой велосипед и немедленно исчезла в лабиринте печерских переулков. У Марины Драгомирецкой было на сегодня еще немало неотложных дел: получить из центральной «Просвіты», на Прорезной, для «Просвіты» печерской разную литературу на украинском языке; на Святославской, в помещении Высших женских курсов, выступить на митинге суфражисток и разгромить суфражистское движение за его равнодушие к национальному вопросу; на Шулявке принять участие в учредительном собрании организации женщин-украинок и добиться, чтобы женщины-украинки, кроме кройки и шитья, наладили в своей организации также уроки украиноведения; на Лукьяновке — в комендатуре Лукьяновской тюрьмы — требовать от тюремной администрации проводить среди заключенных культурно-просветительную работу на украинском языке...

— Ну и проворная! — удивленно и с уважением признался Данило, когда вслед за Мариной закурились пылью немощеные печерские дороги.

— Бойкая! Меня переговорит! — с увлечением, даже с завистью откликнулся Харитон.— Нам бы такую на Марию-бис! В два счета сделали бы... что-нибудь.

Флегонт ничего не сказал, только покраснел и зашагал вперед, чтобы товарищи ничего не заметили.

На завалинке у Брылева дома друзья увидели ранних гостей. Харитон схватился за голову:

— Спаси, мать пресвятая богородица! Все наши «политики» сошлись на полный пленум!

«Политиками» заводская молодежь называла рабочих постарше, когда они сходились в кружок и заводили меж собой беседу. Такие беседы между «стариками» сразу же переходили на политические вопросы, выливались в бесконечные дебаты и обычно затягивались надолго, допоздна.

Прислушавшись к еще не слишком горячему, однако уже оживленному говору на крыльце, Харитон с грустью констатировал, что беседа между «политиками» только началась: речь шла еще только о мировой революции. Уж как-то так, без наперед обусловленной повестки дня, повелось, что, сойдясь, «политики» начинали не о чем-то будничном, близком, стоящем перед глазами, а непременно издалека, в мировом масштабе. Спустя час или два на какой-нибудь одной из мировых проблем сосредоточивалось всеобщее внимание. Тогда тематический круг сужался и из общих рассуждений выпупливался какой-нибудь животрепещущий вопрос, затрагивающий и родную жизнь. Сперва этот вопрос рассматривался с точки зрения важности его для судеб всей бывшей Российской империи, затем он обсуждался применительно к Петрограду, как центру и столице страны, затем перекочевывали в Киев и таким образом где-нибудь на третьем часу дебатов добирались, наконец, и до Печерска. Только тогда спор разгорался в полной мере и страсти достигали апогея.

— Европа! Азия! Америка! Африка! Австралия! — выкрикизал в эту минуту, размахивая кулаками, Василий Назарович Боженко, столяр-модельщик главных железнодорожных мастерских.— Сегодня весь мир уже втянут в войну, если Соединенные Штаты влезли в эту з[illegible]ку! Вот что творится! Кровь проливают [illegible]ьяне и рабочие, а тягаются меж собой капиталисты, кто больше в карман положит на наших слезах и крови! Нам такая война без интереса! А ты говоришь!..

«Говорил», разумеется, Иван Брыль, самый

Из романа «Мир хижинам — война дворцам».

заядлый полемист, всегда готовый к спору с кем угодно, даже с самим собою. Пожав плечами в ответ на страстную Боженкову речь, он начал неторопливо, с явной насмешкой, подчеркивая отдельные фразы, которыми ему хотелось особенно досадить противнику:

— Известно! Ты же три дня, как записался в большевики! «Мир хижинам — война дворцам»! Об этом, брат, я знаю еще с той поры, как ты пешком под стол ходил. Но ведь сам Маркс учит, что обстоятельства решают все. А обстоятельства, брат, сейчас как раз иные. Вот, слушай меня сюда, я тебе зáраз все доскажу, как есть...

Старый Брыль откинулся, чтобы лучше видеть оппонента, и пригладил свои усы книзу — такая у него была привычка. Василий Боженко, отмахавшись кулаками, принялся теребить свою бороду — у него такая была привычка.

— Пока еще была Россия царской,— поучающе начал Иван,— то каждому дураку было ясно: нехай император проигрывает свою войну...

— Ну, ну? — поддакнул Боженко, теребя бороду.

— Вот тебе и «ну»! А теперь появилось, так сказать, новое обстоятельство: революция. Так пойми, большевистская твоя голова: ежели победу одержат кайзеровская Германия, цесарская Австрия и султанская Турция, то одолеют они революционную Россию, а значит, погибнет и революция в России. Так какой же, спрашиваю, вывод должен сделать для себя рабочий класс?

— Ну, ну? Какой, какой?

— Ясно, какой: осторожней будь с лозунгом «Война войне», если такие обстоятельства...

Боженко сорвался с места и замахал кулаками:

— Да ведь революция у нас буржуйская...

— Буржуазная,— авторитетно поправил Иван.

— Буржуазная! Так ты же, совесть твоя где, за Временное правительство министров-капиталистов, что ли?

— Я, чтоб ты знал, против капиталистов еще с того времени, когда ты в большевики и записываться не думал. Временное правительство нужно революционизировать и таким способом от буржуазной революции двигаться к нашей, пролетарской. Сам товарищ Ульянов-Ленин говорит, что надо мирным путем...

— Так Ленин же не про войну говорит, а о том, как власть Советам брать в руки! — завопил Боженко, подскочив вплотную к Ивану, словно собирался ухватить его за грудки.— А то, что ты говоришь,— это меньшевизм, «революционное оборончество»! Тьфу!

Иван привстал с завалинки, сатанея:

— То есть, выходит, я меньшевик? Такое ты хочешь мне сказать, матери твоей бес?

Похоже было, что он вот-вот ударит Боженка. Все прочие «политики» повскакали со своих мест и кинулись их разводить и успокаивать.

Утихомирил взрыв страстей солдат Королевич. Усмехаясь, он намекнул на то, что, мол, здесь, товарищи, не позиции, а глубокий тыл, значит, давайте крови не проливать. И, так же усмехаясь, закончил тем, что, мол, не беда, если хорошие люди поцапаются малость здесь, на Рыбальской; от этого только общая польза будет: правильная думка сама себя защитит. Беда, что нет революционного единства в самих органах пролетарского волеизъявления, в Советах рабочих и солдатских депутатов: меньшевики объединяются с эсерами, трудовиками и другими, уже чисто буржуйскими партиями и тянут руку за кадетское Временное правительство. Но под конец Королевич неосторожно сослался на хороший пролетарский пример Донецкого бассейна: металлисты Луганска, возглавленные слесарем Ворошиловым, требуют не только сразу кончать с войной, но и с самим кадетским Временным правительством.



При этих словах не мог сдержать себя присутствовавший здесь молодой представитель донецкого пролетариата Харитон. Он вырвался вперед и тоже замахал руками:

— Клянусь, правда! Клима Ворошилова у нас знают. Еще как я уезжал, от Клима призыв пошел: бери, хлопцы, оружие в руки — без оружия пролетариат своих прав не добудет! И берем! Революцию делаем, не что-нибудь! Что тут у вас, в Киеве? Меньшевики, эсеры, кадеты, офицеры! Плевать нужно на Киев, идти всем на Донетчину и провозгласить там пролетарскую республику!..

Это и подлило масла в огонь.

Иван Брыль снова поднялся со своего места на завалинке:

— А ты, желторотый, помолчи, когда люди промеж себя серьезный разговор ведут! Ты думаешь, коли надел красную рубаху, так уж самый первый в мире революционер? Постыдился бы цвет революции паскудить на свои фигли-мигли! У нас знамя красное — это кровь наша красная, она не один раз пролилась на киевских мостовых, на которые ты, сосунок, собираешься плюнуть!

Одобрительный гул поддержал старого Брыля. «Политики» были довольны: дерзкий мальчишка получил отпор.

Василь Боженко тоже подскочил к Харитону, ухватил-таки его за грудки, смял в кулаке старательно отглаженную манишку ,— даже одна из стеклярусных пуговиц отскочила,— и встряхнул Харитона так, что у того голова замоталась из стороны в сторону:

— Я тебе, шахтарчук, хоть ты и роду нашего, киевского, сейчас ýхи накручу! Ты что ж, матери твоей хрен, пролетариат с правильной пути сбиваешь? Все равно как сепаратист какой из Центральной рады! Революция разве для одних шахтеров да луганских металлистов? Вот кругом тебя,— Боженко махнул левой рукой, а правой продолжал трясти Харитона за манишку,— кругом тебя киевские герои-металлисты стоят! Шапку сними, сморкач! — Он дал щелчок Харитоновой занозистой фуражке, и та покатилась людям под ноги.— До земли старшим товарищам поклонись! Они горе свое и радость свою, свободу и кровь — все с малых лет отдали революции! Они в революции всех вели и ведут! И тебя за собой поведут, чижика! Революцию всем трудовым народом и для всей страны нужно делать! И нет на нашей трудовой земле местечка, на которое бы мы, пролетарии, в нашей борьбе наплевали! Всю нашу землю вызволим, будь покоен! И ты, твоего батька сын, вызволять ее с нами будешь! А воевать нам, фертик, как раз там, где всякой контры побольше! Правильно я говорю, люди?

— Правильно, Василь! Верно, Василий Назарович! — закричали «политики», и первый среди них — Иван Брыль.

Были они все природные киевляне и пролетарской гордостью своей за родной город поступиться не могли. Где еще с 1897 года через «Союз борьбы» начали шириться идеи единства рабочего класса? В Киеве, на заводах. Да сам Владимир Ильич Ульянов-Ленин в своей статье «Умирающее самодержавие и новые органы народной власти» отметил пролетариев-киевлян!

— А оно еще рассуждает!

Боженко выпустил Харитонову манишку, поднял Харитонову «фартовую» фуражку и ткнул ему в руки.

— Да я разве что? — заикаясь, оправдывался смущенно Харитон.— Разве ж я против? Так только, к слову пришлось. Язык не туда повернулся...

— А ты языка далеко от разума не держи! — уже примирительно кинул Боженко, добывая кисет — перекурить после волнения.— На вот, закури, дурило!

В кружке «политиков» между тем — в развитие спора между Иваном и Василем — пошла уже новая волна беседы: о забастовках. Мысль была такая: кончать ли с войной, бороться ли за восемь часов рабочего дня или от буржуазной революции к социалистической идти, пускай и мирным путем,— у пролетариата один есть способ борьбы — забастовки.

Забастовки действительно трясли сейчас Киев, как лихорадка. За два месяца, со дня Февральской революции, перебастовали уже и металлисты на больших заводах «Греттера-Криванека», и «Южно-русском металлургическом», и работники всех городских типографий, и обувщики фабрики «Матиссона», и табачники «Соломона Когена», и пивовары «Бродского» и «Калинкина», и еще на многих предприятиях. В кружке «политиков» особенно одобряли забастовщиков-портных. Забастовали не только крупные частные конфекционы Кругликова, Рабина, Сухаренко, Кагана, Богатырева, Фрида, Эрлиха или Френкеля,— забастовали даже огромные, на тысячи работниц, военные пошивочные мастерские Юго-Западного фронта на Печерске и Демиевке.

— Эти портные — молодцы! — восклицал кто-то.— Вот держатся, чертовы рыцари нитки и иголки! Третью неделю бастуют, ни в

чем не уступают! И кто бы подумал такое об этом сарпинковом пролетариате! Где это ты, Василь, столько хороших латальщиков да штопальщиков набрал?

— Это не я,— скромно, но с достоинством отозвался Боженко.— Мое дело как члена Центрального бюро профсоюзов,— коллективные договоры. А забастовочным делом руководит Смирнов.

— Какой это Смирнов? Который меньшевик, или который эсер, или который беспартийный?

— Большевик Смирнов, конечно, Иван Федорович. Портной. В подмастерьях у Френкеля был. А учился у мадам Дули на Подоле.

— А! — обрадовался Иван Брыль.— От мадам Дули? «Ваня-маленький»? Господи! Да это ж наш рыбак завзятый! У него и свое местечко было под Аскольдовой могилой, ближе к Аносовскому парку, как раз рядом с нашим с Максимом! Боже мой! Вот таких судаков на удочку брал! Значит, вернулся уже из ссылки? А я и не знал... Максим! Помнишь?..

— Еще бы! «Ваня-маленький»! Вот такой куцый...

Кружок разразился хохотом: сам куцый, Максим указал рукой от земли так низко, словно бы Иван Федорович Смирнов был лилипутом.

Беседа, таким образом, разгоралась все сильнее, сейчас должны были хлынуть бурным потоком воспоминания, и свадьбу наверняка пришлось бы отложить до другого раза, если бы в эту минуту иное, неожиданное не привлекло всеобщего внимания, нарушив привычный ход событий.

2

Калитка в заборе отворилась, и во двор вошли трое.

Передний был в солдатской гимнастерке без погон, как теперь, перед четвертым годом войны, ходила чуть ли не половина населения бывшей Российской империи. Он держал в руках древко со знаменем, свернутым и перевязанным бечевками. Двое других были одеты по-рабочему, но празднично: у одного под пиджаком сорочка украинская, вышитая, у другого — русская, под поясок. Сапоги у всех троих скрипели на целый квартал.

Знаменосец — стройный, жилистый, лет под тридцать — был по-военному подтянут, выглядел молодцом, девчатам тоже пришелся по сердцу.

Это был Андрей Иванов.

В почетном карауле при знамени шли арсенальцы: Фиалек — председатель польской секции киевских большевиков — и Косяков — председатель завкома «Арсенала».

— Андрей! — закричали все.—Здорово, Иванов!

Андрея Иванова — хотя в Киеве появился он всего с год назад — хорошо знали не только в «Арсенале», где он работал токарем, а по всему Печерску: до революции — организатор подпольных сходок на берегу Днепра, со дня революции — руководитель арсенальских большевиков и председатель Печерского районного комитета РСДРП. Сын батрака из-под далекой Костромы, затем чернорабочий на Московско-Курской дороге, потом токарь на механических заводах в Москве, он был призван в армию в начале войны и воевал, пока не заполучил чахотку в Мазурских болотах. Тогда, как квалифицированный токарь по металлу, был отозван и вместе с командой питерских путиловцев и московских металлистов командирован на «Арсенал» — оружейную мастерскую Юго-Западного фронта.

Иван с Максимом, обрадованные, кинулись к Иванову:

— Принес-таки! А мы уж побаивались, что...

— Ура! — завопил Харитон, обрадованный дважды: исчерпывался недавний неприятный инцидент, а неугомонных «политиков» Андрей Васильевич в два счета в порядок приведет.

И действительно, все сразу пошло по-другому. Иванов со знаменем очутился в центре; вокруг него сошлись все: женщины проворно выбежали из кухни Брылей на крыльцо; за женщинами, как из мешка, посыпалась бесчисленная мелюзга — Брыленки, Колиберденки и прочие соседские. С улицы тоже двинулся народ: еще соседи, а то и просто прохожие, незнакомые люди. Забор и деревья за забором вдоль улицы, точно грачи, обсела печерская детвора. Похоже было, что в маленьком дворике Брылей сейчас должно произойти какое-то выдающееся историческое событие мирового масштаба.

А впрочем, так оно и было. Сын чтимого всеми слесаря-разметчика Ивана Антоновича Брыля, молодой арсенальский слесарь Данило вступал в брак с девицей Антониной, дочкой тоже всем известного арсенальца Максима Колиберды, а Даньку и Тоську знали все на Рыбальской, Кловской и Московской — вплоть до Днепра, а в сторону суши — до Черепановой горы и Бессарабки. И отчаянные Данька с Тоськой венчались — впервые в истории Печерска, а кто его знает, может, и в истории всего человечества — без церкви и попа, на веру, но законно. Потому что красному знамени революции — а революция-то и была теперь наивысшим законом — предстояло благословить на дальнейшую счастливую жизнь первую революционную рабочую супружескую пару. Так разве же не мирового значения было это событие?

Как бы в подтверждение этого, за углом со стороны Московской вдруг торжественно грянули трубы духового оркестра. Грянули так призывно и победно, как трубит боевая труба, когда ведет колонну в смертный бой против ненавистных врагов.

Это был чудесный подарок молодым и их старикам-родителям от арсенальского большевистского «главковерха» Андрея Иванова. Сразу поняв, какое выдающееся значение имеет подобный акт общественного революционного самоопределения, Иванов тут же обратился в Третий авиационный парк, партийная организация которого всегда действовала в согласии с арсенальцами. Музыканты-авиапарковцы охотно откликнулись на призыв представителей рабочих, и оркестр в полном комплекте серебряных инструментов немедленно выступил приветствовать революционную рабочую супружескую пару и послужить своими валторнами и барабанами для свадебного танца вокруг традиционной свадебной кадки.

Четко отбивая шаг, оглашая весь Печерск могучими руладами геликонов, наигрывая боевую рабочую песню «Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой», оркестр киевских авиаторов, славных своими героическими подвигами на фронтах войны, промаршировал на Рыбальскую, к домикам Брылей и Колиберд.

— Мир хижинам — война дворцам! — приветствовала оркестр дружным визгом уличная детвора: ведь на красном знамени, которое Третий авиапарк в день свержения самодержавия принял как новое, боевое, революционное знамя, были вышиты золотом именно эти слова: «Мир хижинам — война дворцам!».

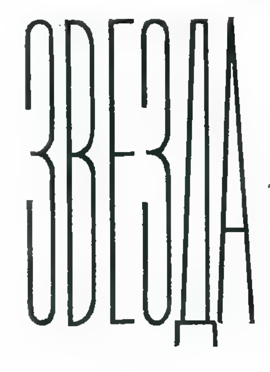
Огромная толпа народа хлынула за оркестром и сразу затопила всю Рыбальскую, вплоть до дорожки на Собачью Тропу.

Оркестр отыграл и смолк с виртуозным вывертом кларнетов на последнем аккорде, и на улице сразу стало так тихо, точно людей вокруг вовсе и не было.

Потому что в тесном дворе Брылей уже началась церемония родительского благословения.

Харитон суетился среди толпы, наводя порядок и подготавливая все, как положено.

— Дружки, сюда! — кричал он.— Рядочком ставайте, рядочком. А молодая где же? Где Тоська? Антонина Максимовна, ну как вам не совестно? Где вы запропастились? Ставайте сюда. Да ты что ерепенишься? Ты же молодая! Да имейте же совесть, товарищи! Расступитесь, родителям дорогу дайте! Да грядочек с рассадой не топчите! Тьфу, побей тебя лихая година! Вот народ! — Вдруг он в отчаянии схватился за голову.— А кадка где? Разве можно свадьбу без кадки? Счастья и хле-



Иван РЯДЧЕНКО

В далеком памятном году
Поверил я навек в родную,
Пятиконечную,
Земную
И незакатную звезду.

От первых песен пионера
До дня, когда умолкну я,
Она — любовь,
надежда,
вера
И вся религия моя.



Из пушек в эту веру били,
Втоптать стремились в глубь
земли,
Ее пытали и бомбили,
Ее морозили и жгли.

Но вера та дана народом
И дорога́, как сыну мать.
И даже бомба с водородом
Ее не в силах подорвать!

Пускай на солнце будут
пятна —
На ней нет пятен никогда.
Она чиста и незакатна,
Как наша красная звезда.



Поезд

Абдильда ТАЖИБАЕВ

На курьерском — мне такое по плечу! —
Я стремительно в грядущее лечу.
И вершины и туннели — погляди! —
Отстают и остаются позади.

Там, где были только сумерки одни,
Новый город засветил свои огни.
Трубы дымные заводов там и тут —
От курьерского никак не отстают.

Рядом с нами — обогнать нас норовит? —
Электричество бесшумное бежит:
Поспешает вдоль столбов, по проводам
К новоселам, землеробам, чабанам.

Неотрывно — уж который час подряд! —
У окна китайцы юные стоят.
Я ничуть не разобрался в их словах,
Лишь заметил восхищение в глазах!

Перевел с казахского
Ярослав СМЕЛЯКОВ.

ба молодым, чтоб на целую жизнь! Флегонт! Беги, тащи кадку сюда! Да не от Брылей — у Брылей маленькая, от Колиберд кати: там такая кадка, на двенадцать персон, в ней сам дядько Максим утопиться может!

Молодые уже стояли посредине, и Харитон вязал им руки платком, затягивая чуть ли не тройным морским узлом.

Данило и Тося опустили головы и уставили взгляд в землю, пряча глаза от людей. Данило даже похудел от волнения. Тося же и вовсе светилась от бледности, и теперь хорошо было видно, что веснушки покрывают все ее лицо, шею и плечи. Она совсем ошалела и только поглядывала исподлобья по сторонам, точно котенок, загнанный собаками на забор.

Иван стоял с Меланьей, Марта с Максимом. И у Марты и у Меланьи были на вышитых петушками полотенцах круглые хлебы, посыпанные солью, — как провожают в дальнюю дорогу. Матери уже не вытирали слез, потому что руки были заняты, и слезы свободно катились у них по щекам: за целодневными хлопотами им так и не дали выплакаться как следует, как надлежит матерям, когда провожают детей в самостоятельную жизнь. А как же хотелось бы им, сердечным, наплакаться из-за такого горя: без молитвы, без креста благословляли они кровь и плоть свою в страдный жизненный путь...

Иван и Максим стояли серьезные и торжественные. Они тоже переживали всю сложную гамму отцовских чувств, но сознавали величие и значительность акта, какой собирались совершить. Они знали: в эту минуту они вступают уже одной ногой в новую жизнь — в ту новую жизнь, которая начинается от революции, которая, впрочем, и сама еще не началась по-настоящему, — творят новые, революционные формы жизни, которых, однако, не представляла себе и сама революция.

Они стояли серьезные и торжественные — в праздничных пиджаках и чистых сорочках, с аккуратно расчесанными волосами, но куда девать свои руки, так и не знали. Проклятущие руки двигались сюда и туда: то приглаживали усы, то обдергивали пиджаки, то лезли в карман и вынимали кисет и поскорее прятали его назад, а тогда снова мотались взад и вперед без всякого порядка. Руки у обоих были натрушенные, заскорузлые, мозолистые — такие быстрые и ловкие в работе и такие неуклюжие без дела, теперь.

Позади родителей — со знаменем в руке, правда, еще свернутым,— примостился Андрей Иванов. Фиалек и Косяков, почетный эскорт, стояли по бокам, выпрямившись, как на параде. Впрочем, они и были на параде, в карауле, при знамени «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Тишина настала во дворе, только женщины еще потихоньку охали и печалились: как же это невенчанными вступят в брак христианские деточки Тоська с Данькой?

— Ну, детки...— начал наконец Иван Брыль.

В тот же миг Харитон дернул за белый платок, каким повязаны были молодые, и Данило с Тосей опустились на колени.

Андрей Иванов развязал бечевки и начал раскручивать полотнище знамени. Он держал древко еще склоненным к земле, и флаг как бы стекал багряной струей из его руки на землю. Луч низкого уже солнца окрашивал его и искрился самоцветами на новеньком позументе.

Иван Брыль замялся. Все старое, что говорилось отцами и дедами при благословении, теперь вроде бы к делу не шло. Как же говорить по-новому, по-революционному?

— Пришла вам пора, детки,— наконец сказал Иван, — и полюбились вы меж собою, как голуби. Не перечить этому нам, старикам-родителям...

Меланья с Мартой зарыдали в голос, но так и полагалось при таком случае матерям.

— Помните ж, дети, — повысил голос Иван,— что́ старые люди говорят: нет лучшего друга, как супруга!

— С хорошей парой и горе не в горе! — добавил поспешно и Максим.— Гляди же, Данько́, и в злой час не бросай верную жену! — И тут он вдруг вспомнил, как в любительском кружке в пьесах не раз и сватал и благословлял.— На счастье, на здоровье, на долгие годы! Дай боже вам на свете пожить, деток наплодить, а там и поженить, как сами женитесь сейчас. Был ты, Данько, нареченный, а стал суженый. Была ты, Тося...

Но Иван отстранил его и сам выступил вперед:

— Обожди! Я старше тебя на два года, да и сын же мой, а твоя только дочка...

И теперь, совершенно взяв в свои руки инициативу, Иван заговори́л достойно и торжественно:

— Помни, Данило: родители смотрят за



дочкой до венца, а муж за женой — до конца! — Он поглядел строго на маковку склоненной перед ним головы сына, а тогда перевел взгляд на стриженые патлы склоненной Тоси — она вся мелко-мелко дрожала от волнения и страха.— А ты, Антонина, гляди: будь сыну моему верной женой, а детям его — доброй матерью. Будешь тогда и нам со старухой хорошей дочкой. Благословляю вас, дети мои, моим отеческим благословением и желаю вам...

Тут Иван почувствовал, что сейчас и сам заплачет, потому что такими же точно словами благословлял его когда-то отец на брак с Меланкой. Поэтому Иван поскорее наклонился, поднял Данилу с колен, за ним и дрожащую Тосю, поцеловал каждого в губы трижды и еще раз в голову, а Данило и Тося припали к его заскорузлой, мозолистой руке.

После этого Иван передал детей Максиму на такой же обряд. А уж Максим — и Меланье с Мартой.

Меланья с плачем припала к Даниле, потом нежно обняла Тосю. Марта была сурова и торжественна и перецеловала детей крепко, коротко, по-мужски. Но обе они при этом тайком, поспешно крестили детей, и каждая заслоняла телом своим другую, чтобы не увидали старики: такие уж они непримиримые революционеры, чертяки!

Данило с Тосей снова опустились на колени, чуть живые от волнения.

А старый Брыль, взяв знамя из рук Иванова, высоко взмахнул полотнищем и тогда укрыл склоненных перед ним детей так, что их не стало и видно под красным знаменем.

— Пускай же вас наше красное знамя на всю жизнь и на все дела благословит, как мы вас благословляем...

Иван поцеловал краешек знамени. Максим тоже поцеловал, но ничего сказать не мог: он исходил слезами, и суровая Марта ласково утешала его.

— Ура! — завопил Харитон.

— Ура! — покатилось со двора на улицу, а с Рыбальской на Кловскую и Московскую и за Собачью Тропу.

Оркестр авиаторов грянул туш.

Тут выступил вперед Андрей Иванов. Подхватив знамя из рук Максима, он вскинул полотнище вверх — над молодыми, над родителями, над всей толпой гостей.

— Товарищи! — крикнул Иванов.

Ему нужно было встать повыше, но рядом была только кадка — ее подкатил Флегонт, — и он встал на свадебную кадку.

Люди придвинулись ближе: что же скажет при таком случае большевистский на Печерске «главковерх»?

Но Иванов сказал совсем коротко:

— Данило и Тося! Поступайте в вашей жизни всегда только так, чтобы быть достойными красного знамени.

— Ура! — закричал Харитон.

— И слава вашим родителям, что благословили вас знаменем революции!

— Слава! — грянули все.

Оркестр заиграл «Интернационал».

И тогда все вдруг заговорили, зашумели, перемешались. Данилу с Тосей кинулись обнимать и целовать, а потом подхватили на руки, и не сами они, своими ногами, пошли вокруг кадки, а поплыли над всеми в воздухе, на руках свадебных дружек и бояр. Так что некому было кидать полено под ноги и неизвестно осталось, кто же первым через него переступил и станет первым в супружестве.

И в это самое время, когда Данилу с Тосей обнесли уже в третий раз, у калитки снова началась суета: во двор въехала на велосипеде студентка Марина Драгомирецкая.

Марина не изменила своему обычаю: опоздала и на этот раз.

Перевел с украинского
Борис ТУРГАНОВ.

Слово художника

С. КОНЕНКОВ,
лауреат Ленинской премии



Когда я подхожу к окну своей мастерской, мне хорошо виден один из уголков Тверского бульвара. Под арками, сохранившимися с фестиваля молодежи, стоят скамьи. Если это вечер — на скамейках сидят влюбленные, тесно прижавшись друг к другу и глядя на проходящих сияющими от счастья глазами. Рядом те, кто пришел отдохнуть после рабочего дня,— простые советские труженики. Если это утро или день, на скамейках усаживаются бабушки, няни, мамы, а с ними — детские коляски со спящими младенцами или малыши, которые передвигаются уже без посторонней помощи. Гомон, смех, счастливые ребячьи голоса...

Сегодня я увидел на бульваре знакомую девочку — беленькую, курносую, с тоненькими косичками. Я помахал ей рукой и немного растерялся, когда на мое приветствие откликнулись и ее приятели — такие же смешные, остроглазые ребятишки.

Потом все они прибежали ко мне в мастерскую, окружили меня, назвали несколько раз дедушкой, принеся с собой шум, беспорядок, свежесть.

Сердце мое наполнилось нежностью к этим детям, нашим детям, для счастья которых мы живем и трудимся. И я еще раз подумал о том, что мы должны сделать все, чтобы у детей было счастливое будущее, чтобы они никогда не узнали ужасов войны.

В борьбе за мир, за светлое будущее человечества искусству принадлежит почетное место. Искусство обладает чудесным даром воплощения мечты. Вдохновенны образы великой силы и красоты, созданные художниками разных эпох и поколений. В них, в этих образах, искусство прославляет лучшие качества человеческого ума и характера, воспитывает ненависть к реакции и злу, воспевает любовь к Родине, красоте, солнцу и свету.

Сейчас, когда все прогрессивное человечество отмечает славный юбилей — сорокалетие Великой Октябрьской социалистической революции, мы, люди Советской страны, с особенной гордостью ощущаем, в какое замечательное время мы живем. Такой эпохи доселе еще не знало человечество! Его-то, наше время, советские художники и призваны отразить в своих произведениях. Задача эта настолько огромна и почетна, что долг каждого советского скульптора, живописца — мобилизовать все свои силы, весь свой талант, отдать всего себя без остатка ее выполнению.

Коммунистическая партия уделяет очень много внимания вопросам литературы и искусства, считая деятелей культуры своими верными помощниками в идеологической борьбе. Высокое доверие партии советские художники должны оправдать. Путь нашего искусства ясен и прям, цели очевидны, возможности неограниченны.

После первого Всесоюзного съезда художников, после опубликования выступлений Н. С. Хрущева о необходимости тесной связи литературы и искусства с жизнью народа энтузиазм советских художников, как и желание работать, творить на благо народа, возрос во много раз.

Где, в какой другой стране художникам созданы такие условия, как у нас?

Чудесные, благоустроенные мастерские, дома творчества, высокая оплата труда, забота партии и правительства о людях творческого труда освобождают нас, художников, от печальной необходимости бороться за свое существование.

С ужасом вспоминаем мы трагические факты прошлого: гениального Рембрандта, умершего в жалкой лачуге одиноким и нищим стариком, или нашу певчую птицу Саврасова, спившегося с горя и нужды, окончившего свои дни в больничной палате для бедных.

Никогда не повторятся у нас подобные примеры. Свободные в своем творчестве от мелких и суетных дел, как много должны мы еще сделать!

Каждая художественная выставка, каждый новый выпуск в художественных училищах и вузах открывает народу новые имена, новые таланты.

Какая это огромная сила — отряд советских художников! Ни на минуту не должно ослабевать творческое горение, ни на минуту не должна порываться связь художника с жизнью народа. И сам творец, его моральный облик, должен быть достойным той высокой миссии, которую призван выполнить. Самоуспокоенность, стремление к мелкому, личному благополучию, материальной выгоде — как все это не вяжется, несовместимо с высоким званием художника, призванного своими произведениями поднимать народ на борьбу за новые успехи в строительстве коммунизма!

Совсем недавно, во время фестиваля молодежи и студентов в Москве, мы знакомились с сегодняшним днем зарубежного искусства.

Какая поразительная разница! Там разброд, поиски чего-то, якобы «отвечающего духу времени» и «нового», но, по существу, уничтожающего искусство. Там яркие таланты на распутье и в недоуменном раздумье. Здесь, у нас,— полная победа метода социалистического реализма, единственно правильного пути развития искусства. Международная художественная выставка была еще одним доказательством торжества искусства социалистического реализма, пламенного и проникновенного, трогающего сердца и зажигающего души, искусства больших идей и огромных возможностей.

Мы люди объективные и не закрываем глаза на недостатки, которых у советских художников еще очень много. Когда в художественном произведении не ощущается чувства современности, художник немощен. Нет ничего более важного для нас, творческих людей, чем это чувство современности: оно — соль искусства.

Сегодня мало быть отображателем поверхности жизни, пусть даже добросовестным. Подлинный художник творит и для будущего. Осмыслить, понять, прочувствовать главное, решающее в деянии народа-творца и запечатлеть его величие на века — вот первейшая цель. Кто не видит во всей глубине настоящее, не ощутит в нем и будущего.

Равнодушие зрителя — приговор художнику. А ведь многие произведения живописи, скульптуры, представляемые на суд зрителям, не трогают их, не волнуют. Любить или ненавидеть, презирать или восхищаться, негодовать или преклоняться заставляет зрителя подлинное создание искусства. И тогда можно сказать, что в нем обрела плоть и кровь большая и зрелая мысль человека творческого труда.

...Москва сияет вечерними огнями, бульвар перед моими окнами опустел. Пусть спокойно спят мои маленькие вихрастые приятели, как и все дети на советской земле. Людей, которые любят правду, красоту, мирное счастье, гораздо больше во всем мире, чем тех, кто хочет мрака, холода и зла. И когда вырастут эти дети, они узнают о славном прошлом, о светлых чаяниях своих отцов и дедов. О многом, надеюсь, им расскажут и наши картины и скульптуры.

ЛЮДИ и РЕЛИКВИИ



Ф. М. Зверев. 1917 год.

Знакомство было неожиданным. Мы стояли рядом у одной из витрин Центрального военно-морского музея и рассматривали портрет сорокалетней давности. На нас глядело с фотографии волевое лицо молодого матроса. На лихо заломленной бескозырке начертано: «Самсон». Под портретом лаконичная подпись:

«Зверев Федор Михеевич, матрос, член судового комитета эскадренного миноносца «Самсон», участник Великой Октябрьской социалистической революции».

Широкоплечий бритоголовый мужчина вглядывался в тот же портрет с таким выражением, будто хотел воскресить в памяти что-то давнее.

Мелькнула догадка, тотчас оправдавшаяся.

— Да, это я, — сказал наш сосед. — Не похож? Еще бы! Целое сорокалетие промчалось...

Разговорились. Зверев недавно ушел в отставку в звании капитана первого ранга.



Ф. М. Зверев. Фото 1957 года.

Федор Михеевич показал на лежавшую рядом с его портретом фотокарточку и пробасил:

— Вот тоже наш самсоновец, артиллерист Купревич Василий Феофилович. Теперь — президент Академии наук Белоруссии...

Зверев повел нас в дальний угол зала и остановился у старенького штурвала:

— Он тоже с «Самсона»!

Жизнь у эсминца «Самсон» была сравнительно короткая. Он сошел со стапелей в Петрограде весной шестнадцатого года и уже летом семнадцатого принял первое боевое крещение в районе Моонзундских островов. В сражении с немецким флотом, стре-



Матрос В. Ф. Купревич. 1917 год.



Президент Академии наук Белоруссии В. Ф. Купревич. 1957 год.

мившимся прорваться к революционному Питеру, балтийцы доказали свою стойкость, сорвали замысел врагов.

На рассвете 25 октября «Самсон», приняв на борт десант матросов с линкора «Республика», вышел из Гельсингфорса в Петроград. От фока до грота вытянулось красное полотнище с большевистским лозунгом: «Вся власть Советам!». Экипажу было поручено доставить в столицу не только десант, но и два важных документа: резолюцию Центробалта о поддержке Балтийским флотом Всероссийского съезда Советов и приветствие петроградскому пролетариату.

Вечером эсминец вошел в Неву, остановился вблизи Николаевского моста, недалеко от крейсера «Аврора», и высадил десант, который немедленно присоединился к красногвардейцам, штурмовавшим Зимний.

Прошли годы. После революции эсминец охранял морские рубежи на Балтике, Дальнем Востоке...

Однажды в музей пришла телеграмма: экипаж переходил с «Самсона» на новый корабль и просил принять штурвал исторического эсминца на вечное хранение. Совершив путешествие в несколько тысяч километров, штурвал занял свое место в ряду дорогих реликвий.



...Под стеклом лежит лента с шестью поблекшими буквами на ней: «АВРОРА». Эту ленту передал в дар музею Александр Васильевич Трапезников, член судового комитета «Авроры» в семнадцатом году и свидетель ее исторического выстрела.

Не один десяток лет отдал флоту старый русский матрос Трапезников. Ходил он в заграничные плавания, дважды пересекал экватор, но особенно запомнилась ему служба на крейсере «Аврора». На нем он проплавал семь лет и сто двадцать пять дней. Там



А. В. Трапезников. 1917 год.



Штурвал с эсминца «Самсон».

матросы избрали его в свой первый судовой комитет.

В октябрьскую ночь семнадцатого года, когда над Невой прогремели выстрелы с «Авроры», Трапезников нес боевую вахту на баке. В бескозырке с ленточкой авроровца матрос-большевик воевал с врагами революции на Волге, Каме, Байкале.

В Отечественную войну ветеран революции снова находился на передовых позициях — под Брянском, Волоколамском, Орлом — и никогда не расставался с ленточкой крейсера «Аврора», на которую сейчас засматриваются тысячи экскурсантов.

У той же витрины, где лежит ленточка Трапезникова, мы увидели пулеметный ствол, поврежденный осколками бомб. У пулемета своя необыкновенная история: он строчил по юнкерам, засевшим у Зимнего, гнал белобандитов Юденича от стен Петрограда, косил огнем интервентов. В гражданскую войну красноармейцы с этим пулеметом, установленным на тачанке, первыми ворвались в Ростов. Остались неизвестными имена тех, кто прошел с пулеметом от Зимнего до Дона и сдал его как реликвию в ростовский музей.

Летом 1942 года под Ростовом шли изнурительные бои. Фашисты рвались к городу. В отряде морской пехоты, которым командовал майор Цезарь Львович Куников, не хватало огневых средств. Куников слыл храбрым командиром и в то же время оставался пытливым инженером: организовал в отряде мастерские и возвращал в строй оружие, которое, казалось, никогда уже нельзя было использовать в боях.

«Я здесь занимаюсь, между прочим, помаленьку техникой, — писал Куников своей жене. — Наждачный камень делаем так: толчем мраморные камушки, наклеиваем порошок на деревянный круг. Получается, представляешь себе! Много сырья поставляют сбитые самолеты немецкие. Из дюраля льем рукоятки, очень неплохо, а машинные рессоры дают прекрасную сталь».

В руки Куникова попал старый пулемет, который он взял из ростовского музея. Отремонтировав его, Куников вызвал лучшего пулеметчика Павла Потерю.

— Вручаю вам пулемет, — сказал командир. — Берегите! С ним балтийские моряки штурмовали Зимний!



Легендарный пулемет «Максим».

Пристрелку Павлу Потере пришлось сделать на фашистах под Ростовом. «Максим» действовал безотказно. Затем Павел воевал в Задонских плавнях, на побережье Таманского полуострова, под Азовом, на «Малой земле», под Новороссийском. Высадившись внезапно в районе Станички, куниковцы уцепились за клочок земли. Павел Потеря залег с пулеметом на правом фланге, у школы поселка Рыбачьего. За сутки он отбил семнадцать атак гитлеровцев, а в последующие дни и



Герой Советского Союза Ц. Л. Куников. 1943 год



П. Н. Потеря. 1943 год.

со счета сбился. Бои затянулись на несколько месяцев.

В одном из сражений Потерю ранило, а пулемет разбило. Когда Павел вернулся из медсанбата и явился к своему командиру, он увидел лежавший без станка пулемет.

— Узнаешь? — спросил Куников.

— Как же! Тот самый, из ростовского музея...

Вскоре матросы опять услышали знакомый звонкий «говор» пулемета Павла Потери. Много дней действовал пулемет, но как-то вечером неожиданно затих. В атаке, последней и решительной, пал смертью героя Цезарь Куников. Тяжело контузило Потерю, а пулемет искорежило, засыпало землей.

Враг откатывался. «Малая земля» становилась глубоким тылом. Станичка, где высаживались десантники, в память о герое названа была Куниковкой. Вслед за воинами на опустошенную землю пришли строители, виноградари, рыбаки. Появились новые белоснежные домики, зазеленели виноградные лозы, к причалам потянулись рыбачьи шхуны. А где-то глубоко в земле лежал разбитый пулемет.

Казалось, история легендарного пулемета оборвалась. Но вот на бывшей «Малой земле» появились матросы. Они шагали неторопливо, пристально осматривали изрытую воронками землю, поднимались на земляные валы и, обозревая местность, сличали ее с картой. Они отыскивали огневую точку Павла Потери.

Лопата заскрежетала о металл. Матрос нагнулся. В его руках — замок пулемета. Потом откопали и тело «Максима». Моряки передали эту ценную находку в Ленинград. И лежит эта реликвия в музее, недалеко от Дворцовой площади, где в семнадцатом году шли бои с юнкерами.

Мы долго разыскивали пулеметчика Павла Потерю, писали на его родину в село Павловку, что под Азовом, в воинские части, где он служил. Розыски были безуспешными. И вот совсем недавно почта принесла приятную весточку: Павел Николаевич Потеря работает строителем в Ростове-на-Дону, мечтает побывать в Ленинграде, посмотреть на свой «Максим»...

В музее нам посоветовали предпринять еще один поиск:

— Найдите радиста Дождикова Николая Романовича. Он первые декреты Советской власти в эфир передавал. Ему Ильич трубку подарил...

Мы встретились с Дождиковым в его квартире, на улице Восстания. Статный пожилой усатый человек в синем кителе сидел за письменным столом.

— Приземлили, — кивнул он на бумаги. — Прилетел из Амдермы в отпуск, посадили за воспоминания. Говорят, надо...

Мы спросили о трубке. Дождиков открыл ящик, взял сверток, бережно развернул его и достал старомодную трубку.

— Было так, — сказал он. — Сидел я в кабинете Владимира Ильича. Заходит Надежда Константиновна Крупская и говорит ему: «Смотри, какую штуку мы тут обнаружили в комнате».

— В Смольном?! — засмеялся Ильич. — Всякий историк станет в тупик: какими судьбами и для каких целей попала эта трубка в институт благородных девиц. — И повернулся ко мне: — Вы курите, товарищ? Ну вот и возьмите, курите на здоровье. Хотя курение здоровья не дает и я безусловный противник курения. Возьмите на память о Смольном.

Четыре месяца подряд, до переезда правительства в Москву, Дождиков бывал у Ленина. В первый раз он пришел к Ильичу 25 октября 1917 года. По решению станционного комитета он, старший радист-телеграфист Царскосельской военной радиостанции, привез Ильичу радиосводки с фронтов мировой войны.

— Очень интересно, — сказал Ленин, бегло знакомясь со сводками. — Теперь, товарищ, пожалуйста, приезжайте ко мне каждый день. А это сегодня же передайте в эфир...

И Ленин дал Дождикову обращение «К гражданам России!». А два дня спустя радист увез от Ленина для передачи стране и миру два первых декрета Советской власти — о мире и о земле.

В последний раз Дождиков видел Владимира Ильича в Москве в восемнадцатом году. После совещания в Кремле Ильич спросил:

— Куда же вы теперь?

— На север поеду, Владимир Ильич, — ответил радист. — На севере надо строить радиостанции.

— Очень нужно! — подтвердил Ленин. — Очень нужно! Желаю удачи.

Вскоре после этого разговора старенький пароход, войдя в Обскую губу, высадил радиста Дождикова. Трубку Николай Романович с собой не решился взять. Кто знает, что его ждет в необжитом крае? Он отдал ленинский подарок на хранение матери. Она тогда жила в Яранске.



Трубка — подарок Ильича.

В Обской губе, там, где ныне стоит город Салехард, Дождиков построил радиостанцию и подал первые позывные. Потом он сооружал радиостанции в Новом порту, в бухте Находка, в Верхне-Инбатском. Пообжился, привык к северу, заглянул в отпуск к родным в Яранск. Мать открыла кованый сундук, вытащила оттуда трубку, завернутую в шелковый платок, и передала сыну.

Тридцать пять лет работает в Арктике Дождиков. Отпуск после трудных зимовок он проводит в Ленинграде. Подарок Ильича — его постоянный спутник. Старый радист снова собирается в Амдерму вместе с женой. И, как всегда, бережно кладет в чемодан трубку — память о первых днях революции, о встречах с Лениным.

— Через годик вернусь с Амдермы. На этот раз навсегда. И тогда отдам трубку в музей...

К. ЧЕРЕВКОВ



Н. Р. Дождиков. 1917 год.

Н. Р. Дождиков с ребятами. 1957 год.



По пути прогресса

Эньюрин БИВЕН,
член парламента, член исполкома лейбористской партии Англии



Шлю свои наилучшие пожелания народу Советского Союза по случаю его национального праздника — 40-й годовщины.

Изменения, которые происходят сейчас в жизни Советского Союза, а также демонстрация последних технических достижений свидетельствуют о том, что советская революция не ослабила своего движения вперед.

Это факт огромного значения, если учесть гражданскую войну, последовавшую вслед за революцией, и огромные потери и жертвы советского народа во время второй мировой войны.

Посылая свои наилучшие пожелания народу Советского Союза, надеюсь, что сохранение мира позволит ему и дальше идти по пути прогресса.

Лондон.

О, СОРОК ЛЕТ — ДОРОГА СЛАВНАЯ!

Алио МИРЦХУЛАВА

Погода солнечная,
летная.
Какой простор для силы,
мужества!
Над Грузией,
как чайка легкая,
моя душа парит
и кружится.

Бывало трудное и грустное,
но шел сквозь беды
я к победам.
О, если б не любил я Грузию,
я разве смог бы стать поэтом?!

Я каждый день живу,
как заново.
Мне это душу освящает,
и Октября большое зарево
мою дорогу освещает.

Хочу делиться силой,
знанием
и честно всем в глаза смотреть.
Не греться я хочу
под знаменем,
а тем же пламенем
гореть!

Какие радужные капли
(И где еще найдешь, как эти!)
на деревах и травах Картли,
на виноградниках Кахети!

О, сорок лет —
дорога славная!
Ничто давно необратимо.
Стоишь ты, Грузия,
как равная
среди республик-побратимов.

Погода солнечная,
летная.
Какой простор для силы,
мужества!
Над Грузией, как чайка легкая,
моя душа парит
и кружится.

Перевел с грузинского
Евг. ЕВТУШЕНКО.



За дружеские встречи

Джозеф ПОЛОВСКИ,
секретарь Общества американских ветеранов встречи на Эльбе



По случаю сороковой годовщины рождения Советского Союза американские ветераны встречи на Эльбе шлют советским ветеранам второй мировой войны и всем советским людям самые сердечные пожелания счастливого, мирного, свободного, процветающего будущего. Пусть дух Эльбы 1945 года и дух Женевы 1955 года присутствует на советском национальном празднике. Пусть в следующие годовщины мы увидим много дружеских и искренних встреч между советскими и американскими ветеранами, государственными деятелями и простыми гражданами обеих стран в обстановке прочного мира.

Чикаго.

МЫСЛЬ, ВЕДУЩАЯ ПОКОЛЕНИЯ

Карл ШТАЙНХАРДТ

Ваша страна вошла в мою жизнь задолго до того, как на карте мира появилось первое государство рабочих и крестьян. Я говорю не только о России, а именно о Советском Союзе. И, как ни парадоксально это звучит, это правда. Правда, потому что в своем сердце и мыслях я всегда отождествляю Советский Союз и марксизм.



Осенью 1893 года перед австрийскими социал-демократами выступали Фридрих Энгельс и Август Бебель. Тогда к Энгельсу подошел молодой рабочий, делегат из 11-го района Вены, и передал ему слова рабочих Зимметинга: социалисты этого района обещают быть стойкими революционерами-марксистами.

Этим молодым рабочим был я. И клятве, которую я дал от имени моих товарищей, я уже не мог никогда изменить.

Тогда, более 60 лет назад, передо мной впервые забрезжил свет этого немеркнущего учения — марксизма. Позднее я отчетливо увидел его силу — зримую, всепобеждающую. И воплощением победоносной силы марксизма стали для меня Ленин и ваша страна.

Имя — Ленин — я услышал в 1903 году в Гамбурге: Роза Люксембург рассказала, что в России Ленин создает боевую революционную партию.

С тех пор это имя было повсюду с теми из моих друзей, кто отдал жизнь революции.

Ленин и Россия!

Впервые я увидел Ленина и услышал его речь незадолго до первой мировой войны в Лондоне. Он выступал на собрании социал-демократов и пацифистов, съехавшихся из нескольких стран Европы. Говорил он о справедливых и несправедливых войнах, о колониальной политике и борьбе угнетенных народов.

Вам, друзья мои, эти ленинские мысли кажутся теперь прописной истиной. А нас, услышавших Ленина впервые, его слова поразили почти так же, как ваше нынешнее сообщение о запуске спутника Земли.

Я много думал в тот день, я пересматривал свои взгляды. И теперь, когда мои убеждения уже выдержали испытание временем, я могу сказать, что именно с того дня я стал большевиком.

Мысль Ленина вела меня через мою долгую жизнь: когда мы создавали Коммунистическую партию Австрии, когда я принимал участие в разгроме Врангеля, басмачей Средней Азии, белобандитов Украины.

И молодая Советская республика, как и ее вдохновитель и вождь, была нашим путеводителем в борьбе. Прорываясь сквозь полицейские кордоны и фронт, мои товарищи и я приезжали в Москву на первые конгрессы Коминтерна, и слова Ленина, слова, произнесенные в Москве, надолго давали нам силы для сражений.

Сейчас мне 83 года, пройдена длинная и трудная жизнь. Но я не могу уйти в сторону и умиротворенно созерцать события со стороны — я должен отдать новому поколению все, что накопилось в моей душе. Я не могу уйти с поста бойца и агитатора, потому что, друзья мои, тот, кому жал руку Энгельс, кого при прощании целовал Ленин, не может поступать иначе. Не может быть иным тот, кто всю жизнь верил в идеалы, осуществленные вашей страной.

Вена.



Г. Савинов. Перед штурмом.



Ткаченко. Год 1917.

Идут они навстречу
рассветному лучу
Могучим плотным строем
примкнув плечо к плечу

Шагают дружно в ногу
над грозною рекой,
И слышит эту поступь
весь честный род людской.

Ведет к заветной цели
суровый путь борьбы.
Хозяевами стали
вчерашние рабы.

Сергей ВАСИЛЬЕВ



В. Кузнецов Штаб Октября.

ЦЕЙ МОЗАМБИК

Рассказ

Татьяна ТЭСС

Рисунки Г. ЕГИШИНА.

Старшую горничную на втором этаже звали тетя Поля.

Это была полная пожилая женщина с большими ногами в мужских полуботинках. Уборщицы боялись ее, как огня. Чистота была страстью тети Поли, она была обуреваема этой страстью с силой, поразительной даже для деревни Радьки, откуда тетя Поля была родом. Было хорошо известно, что радьковские хозяйки — завзятые чистухи и, ежедневно приготовив обед, заново белят печку. Но тетя Поля, когда жила в Радьках, белила ежедневно не только печку, но и стены хаты. До таких вершин радьковские хозяйки добраться уже были не в силах.

Из Радьков тетя Поля уехала двадцать пять лет назад, но боевой дух был в ней неукротим по-прежнему. В этой маленькой тихой гостинице она быстро завела свой порядок. Каждое утро молодые уборщицы под ее началом драили коридор и номера, как матросы палубу. Они терли стекла, пока те не начинали излучать сияние. Но тут к окошку подходила тетя Поля. Она делала несколько неуловимых кругообразных движений тряпкой, и стекло становилось невесомым, как солнечный луч. Отступив на несколько шагов, тетя Поля критически осматривала свою работу, прищурив глаз, подобно художнику, сделавшему последние мазки картины.

Эта гостиница была выстроена для колхозников, приезжающих в Москву на Сельскохозяйственную выставку. На этаже у тети Поли обычно поселялись доярки. Они приезжали весною, привозя колхозных коров-рекордисток, и уезжали поздней осенью, когда выставка закрывалась.

Тете Поле нравилось, что у нее такие степенные и серьезные жилички. За лето она успевала с ними подружиться. Вечером, когда доярки возвращались с выставки, она приносила им чайники с кипятком и заваркой, не дожидаясь, пока те попросят. Доярки садились пить чай и приглашали тетю Полю. Она сначала для приличия отказывалась, но потом садилась, пила, как они, по четыре чашки, огромных, пузатых, точно молочник, и обсуждала события, происшедшие на выставке за день.

А событий было немало.

Капризные рекордистки, попав в непривычные условия, сбавляли удой. Целый день в коровнике толпились экскурсанты со своими книжечками, в которые они записывали все подробности о каждой знаменитой корове, и доярки страдали, видя, что корова нервничает от шума и ест безо всякого аппетита.

Больше всех расстраивалась Ксения Парфеновна, кругленькая, проворная женщина из колхоза «Красный луч». Придя в номер, она тотчас же разувалась, чтоб не тосковали в городских туфлях ноги, и, вытирая платочком полные щеки, рассказывала:

— Поставили ее посреди, кругом народ сидить на креслах, как в цирке, свет пустили и еще с кино приехали снимать. И говорять: «Парфеновна, демонстрируй электродойку». А она не даеть. Стоить, как столб, и не даеть молока. Хоть умри с ней!

Она быстро пошевелила под столом босыми розовыми пальцами и сказала горестно:

— Где ж это видано, чтоб корова в цирке доилась?

— Да ты не расстраивайся, — утешала ее тетя Поля. — Я здесь какой год, и каждый раз поначалу доярки ужас до чего из-за коров переживают. А потом, смотришь, корова и привыкла. Люди, и те привыкают, слава тебе господи.

В угловой комнате вместе с доярками поселили молчаливую коренастую женщину, приехавшую из колхоза в Заволжье. Она привезла на выставку верблюда. Тетя Поля специально ходила его смотреть. Верблюд стоял, вытянув маленькую, как у змеи, надменную голову, и плевался. Тетя Поля несколько раз обошла его со всех сторон и так и не поняла, для чего природа создала такую штуку. Но молчаливая жиличка обожала своего питомца и каждую ночь вставала и шла в темноте через всю территорию выставки, чтобы проверить, не скучает ли верблюд.

Сейчас она тоже сидела за столом, пила чай, но в разговор не вмешивалась, а только кивала головой, когда Парфеновна изливала душу. И было видно, что она тоже переживает из-за своего верблюда.

Все это тете Поле было уже, в общем, знакомо. Но этой весною неожиданно все сложилось по-иному.

В начале весны на втором этаже поселились, как всегда, доярки. Но уже к середине лета все номера было велено освободить, жильцов переселили куда-то в общежитие, и директор, собрав сотрудников, объявил, что гостиницу отводят для делегатов Всемирного фестиваля молодежи.

Тетя Поля была женщина грамотная, каждый день слушала радио и уже столько знала о фестивале, что ее, казалось, ничем не удивишь. Но когда она поняла, что делегаты фестиваля будут жить в гостинице и даже займут номера на ее этаже, она почему-то разволновалась, и ноги у нее стали, как ватные.

Она постаралась не подать виду и сидела на собрании, как всегда, степенная и строгая, в крахмальной косынке на темных, без единой сединки волосах, и когда директор произнес скучным голосом: «Будем бороться за чистоту, товарищи...», — тетя Поля пошевелилась и сказала на весь зал:

— Не с дитями говорите, Иван Нифонтыч!

Тем не менее домой она пришла необычно взволнованная и хотела поделиться своими мыслями с дочкой.

Дочка одевалась, чтобы пойти с мужем в кино. Она сидела перед зеркалом в голубой комбинации и раскручивала железки, на которые у нее были намотаны локоны. Рядом вертелся маленький Гнатик, внучек. Дочка сказала рассеянно:

— Интересно, из Венесуэлы тоже приедут?

Тетя Поля не знала, что такое Венесуэла. Но она поняла, что дочке нет дела до ее забот, и обиделась. Тяжело ступая ногами в мужских туфлях, она ушла на кухню готовить ужин.

Время шло. Тетя Поля каждый день ждала, что появятся новые постояльцы, а гостиница все пустовала. Номера сияли беспощадной, корабельной чистотой. Неподалеку на перекрестке прибили веселого деревянного человечка в кепке, который показывал вперед рукой; под его ладонью было написано: «Hotel». Так теперь называли гостиницу; это тете Поле даже нравилось, потому что звучало непонятно и значительно. Рядом на газоне под полотняным навесом устроили большую столовую, там уже наводил порядок шеф-повар, решительный мужчина с руками борца. Столовая тоже пока пустовала, и это тетю Полю успокаивало. Почему-то ей все время думалось, что на ее гостиницу может не хватить делегатов.

Наконец прошел слух, что другие гостиницы рядом с выставкой начали заселять.

Приезжих пока еще никто не видел, но слух пошел и докатился до второго этажа, где дежурила тетя Поля.

Дежурство кончалось в шесть часов, и тетя Поля, едва дождавшись прихода сменщицы, устремилась на проверку, окинув напоследок воинственным взглядом все свое хозяйство и вытянувшихся перед ней, как на смотру, молоденьких уборщиц.

Выйдя на тихую обычно улицу, тетя Поля остановилась.

Здесь стоял гам, как на вокзале. Вдоль улицы выстроились гуськом одинаковые желтые автобусы, из них высаживались делегаты. На тротуаре толпились любопытные, шныряли ребята; даже местные старушки приплелись из заросших бузиной дальних переулков, чтобы посмотреть, что тут происходит.

Тетя Поля, самолюбиво поджав губы, прошла мимо автобуса.

Оттуда с шумом и смехом выгружали вещи какие-то чернявые щуплые пареньки в легких, похожих на женские кофточки куртках и на удивление худые девушки в узких штанах, с такими короткими кудрявыми волосами, словно после сыпного тифа. Все они шумели, смеялись, о чем-то спорили, и, выгрузив наконец свои чемоданы и рюкзаки, взвалили их на плечи и зашагали в гостиницу, с любопытством поглядывая вокруг.

Тетя Поля подошла к следующему автобусу и оробела.

Оттуда не торопясь выходили здоровенные голенастые мужики в коротких клетчатых юбках, с поросшими рыжим пухом икрами. Голубоглазые девушки с фарфоровым румянцем как ни в чем не бывало шли рядом с ними и то и дело кричали кому-то «Хэлло!», словно говорили по телефону. Подъехал еще один автобус, на всех пассажирах были одинаковые красные колпачки с кисточками, точно у карликов в сказке, которую читал Гнатик. Парень в юбке взял в рот какую-то дудку, и та вдруг загнусавила, как слепец на ярмарке; где-то ударил барабан, запела труба... Из соседнего автобуса, пятясь, вылезал толстяк в коротких кожаных штанах, с голыми ляжками, в шляпе с пером. От кучки ребятишек отделился рыжий мальчик и устремился к нему, держа в руке значок с изображением МГУ.

— О! — сказал толстяк и проворно схватил значок. — О! — повторил он и, отцепив какую-то бляшку со своей куртки, сунул ее мальчику.

Тот ринулся обратно, торжествующе зажав бляшку в ладони.

От шума, толкотни, непонятной речи, от всего, что тут творилось, у тети Поли закололо под лопаткой. Вдруг ей пришло в голову, что, пока она тут, в их гостиницу тоже приехали постояльцы, и старшая горничная, стуча каблуками, побежала назад с такой быстротой, какой и сама не ожидала.

Но первый автобус подъехал к их гостинице только на следующий день.

Тетя Поля, различив фырканье мотора под окном, приосанилась и вышла из дежурки. Внизу, в вестибюле, уже слышались голоса. Она перегнулась через перила и обмерла.

Прямо на нее двигалась женщина в белом, с косым вырезом балахоне, со стриженой, кудрявой, как мерлушка, головой и совершенно черной кожей.

Она не была смуглой или загорелой, она была просто черной, абсолютно черной, как сажа. На голых черных ногах были надеты тапочки. Женщина поднималась по ступеням, уставившись на тетю Полю живыми глазками, и улыбалась.

Шаркнув ногами и что-то пробормотав, тетя Поля отступила. В полной растерянности она глядела на лестницу, по которой уже двигалась толпа людей. Женщины были в просторных одеждах, похожих на балахоны, или в юбках, напоминающих завернутые вокруг тела полотнища пестрой ткани; на шеях звенели диковинные ожерелья, за ушами были заткнуты цветы; в руках вместе с вещами постояльцы тащили барабаны, трещотки и куски какого-то дерева. Удивительно были одеты и мужчины. Один здоровый, рослый парень с блестящими, словно смазанными маслом, плечами был, как показалось тете Поле, попросту закутан в простыню. Правда, было здесь и несколько мужчин и женщин, одетых в обыкновенные городские костюмы, были даже и франтихи в узеньких, как перчатка, пестрых

платьях, но от обычной одежды их черные лица, прически, быстрые и мягкие движения, густые протяжные голоса казались еще более удивительными.

Тетя Поля стояла, не в силах пошевелиться, а новые постояльцы тем временем уже вступили на второй этаж. Они заполнили весь коридор, хохотали, переговаривались, стучали своими трещотками и даже танцевали. Впереди шел директор Иван Нифонтович весь потный, словно вылез из бани, и делал вид, будто ничего особенного не происходит.

Тетя Поля так и простояла, пока коридор не опустел.

Молоденькие уборщицы носились из номера в номер, путая от усердия все на свете. Только когда тетя Поля увидела, как уборщица Гапкина выронила из рук графин с кипяченой водой, она пришла в себя и, уничтожающе поглядев на Гапкину, подбирающую осколки, отправилась в дежурку.

По дороге она заметила, что один номер остался незанятым.

Это была угловая веселая комнатка, где в прошлом году жила верблюжатница. Но едва старшая горничная дошла до площадки и оглянулась, она увидела, как в коридор вошли еще двое жильцов.

Это были женщина и мужчина, очень молодые, щуплые, как подростки. Они несли, взяв с двух сторон за ручки, большую корзину, напоминающую плетенки, в каких приносят из прачечной белье. Под мышкой мужчина зажал пестрый мешок с вещами; второй тюк висел у него на плече. Когда он шел, было видно, как под просторной белой одеждой шевелятся его острые лопатки.

Дойдя до середины коридора, новые жильцы остановились, растерянно оглядываясь. Тетя Поля, почувствовав себя на боевом посту, направилась к ним.

Приезжий, добродушно улыбаясь, показал ей ключ от угловой комнаты. Женщина, наклонив набок голову с хохолком, как у птички, глядела на тетю Полю и тоже улыбалась. На шее у нее было ожерелье, похожее на сушеные кукурузные зерна. Черной, словно вырезанной из темного дерева, рукой женщина крепко держала корзинку.

Тетя Поля глянула в корзинку и охнула.

Там спал грудной ребенок.

Он лежал среди подушек, черный, как уголек, спал и сопел во сне. Маленькая нога высунулась, пятка была темно-розовой, точно лепесток.

— Мама моя ро́дная! — только и проговорила тетя Поля, не отводя глаз от корзинки.

Женщина застенчиво улыбнулась и сказала что-то длинно и непонятно. Тетя Поля, так и не придя в себя от изумления, пошла открывать номер; жильцы зашагали вслед за ней.

* * *

Домой тетя Поля шла, переполненная впечатлениями. Ей хотелось рассказать дочке и зятю все, что она видела сегодня, рассказать не торопясь, со всеми подробностями, смотреть, как они ахают и всплескивают руками, и снова рассказывать. Конечно, может быть, дочка и зять тоже видели делегатов, но, во всяком случае, те не жили под их попечением, не бегали мимо них в уборную или душевую и не танцевали на их глазах в коридоре, стуча трещотками и тряся браслетами. Такого уж, конечно, никто, кроме нее, не видел. И уж, во всяком случае, среди всех приезжих, наверное, только и нашлась одна пара, которая рискнула пуститься через весь свет с грудным ребенком в корзинке. Это опять-таки видела одна тетя Поля.

Но дома было пусто.

Дочка с зятем куда-то ушли и забрали с собою Гнатика. Посреди стола сидела кошка и ела траву из букета в вазочке.

— Пошла вон, змея! — закричала тетя Поля. Ей было так досадно, что она чуть не заплакала. Швыряя подушки, она разобрала постель и легла, не поужинав.

На следующий день тетя Поля пришла на работу рано, но приезжие уже встали.

Поминутно хлопали двери, и из номеров, как из шкатулки, выскакивали чернокожие жильцы. Одни проносились мимо тети Поли, обдавая ее ветром от своих развевающихся одежд, другие бежали вверх по лестнице, очевидно, позавтракать. Из душевой слышался визг и хохот. Возле дверей вестибюля гудели автобусы. Тихая гостиница была неузнаваема.

Дверь в угловую комнату была открыта, и тетя Поля заглянула туда.

Жилец куда-то ушел. Женщина стояла у окна, держа на руках ребенка. Голенький, с блестящей кожей, с перевязочками на черных ручках, он походил на резиновую игрушку. Мать то придвигала его к себе и утыкалась



лицом в его голый животик, то подбрасывала в воздух. Оба они, и мать и ребенок, заливались смехом. Вблизи женщина выглядела еще моложе, она казалась почти девочкой, с жесткими курчавыми волосами и пухлым ртом, смешно вытянутым вперед. Она протянула два черных тонких пальца и стала показывать мальчику «козу», совершенно так же, как делала тетя Поля, когда Гнатик был маленький.

— Как же это вы отправились с дитем в такую даль? — спросила тетя Поля и неожиданно для себя села.

Она тоже сделала мальчику «козу», и он засмеялся, приоткрыв ротик.

— Как же это вы, чудаки, решились? — снова сказала она. Женщина, залившись смехом, подбросила ребенка.

— Надо же! — сказала тетя Поля неопределенно.

Наступило молчание.

— А живете вы где? — спросила тетя Поля. Женщина молча смотрела на нее, силясь понять. — Приехали откуда? — спросила тетя Поля, повысив голос. — Приехали откуда, поняла? Господи Исусе, русского языка не знает! Вот живут, бедолаги... Ну, проживаете где, понимаешь? Как же это ей объяснить...

Тетя Поля обвела глазами комнату, будто ей могли помочь стены. Женщина продолжала смотреть на нее, прижав к себе ребенка.

Тогда тетя Поля вытянула два пальца и стала быстро переступать ими по столу, как она делала для Гнатика, показывая бегущего человечка. Потом она стала фырчать, как паровоз, и замахала руками, изображая крылья самолета. Запыхавшись, махнула рукой и села.

Женщина внимательно смотрела на нее и вдруг просияла улыбкой.

— Мозамбик! — сказала она мягким гортанным голосом. — Мо-зам-бик!

— Мозамбик? — переспросила тетя Поля, и женщина закивала головой. — Где ж это будет?

Она посидела в номере еще несколько минут, но разговор больше не клеился, как тетя Поля ни старалась. Тогда она забрала со стола пустую полоскательницу и отправилась в кабинет директора.

Директор Иван Нифонтович был человек просвещенный, и в кабинете у него висела большая карта Европы. Тетя Поля стала искать на карте Мозамбик, но так и не нашла. Директор застал ее, когда она стояла возле карты, надев очки, и водила пальцем с крепким темным ногтем по Адриатическому морю.

— Вы что здесь делаете? — изумился он. Иван Нифонтович за дни подготовки к фестивалю так набегался, что у него запали щеки, как после болезни. — Что вы ищете, тетя Поля?

— Да где цей Мозамбик? — сказала тетя Поля с досадой. — Нема его на карте!

— Мне бы ваши заботы, тетя Поля, — сказал Иван Нифонтович и вздохнул. — В Африке Мозамбик, в Африке...

Тетя Поля пошла в дежурку. Дверь в угловой номер оказалась распахнутой настежь. Комната была пуста.

Жильцы ушли. Не было и корзинки с ребенком.

Весь день, пока тетя Поля занималась своей обычной работой, наводя на этаже чистоту, она не могла отделаться от смутного чувства беспокойства. Она часто подходила к окну посмотреть, не возвращается ли молодая пара, а один раз даже спустилась вниз, поджидая автобус. У входа стоял, как свеча, рыжий мальчик, которого тетя Поля видела еще в первый день. Клетчатая рубашка его была утыкана значками, точно бумажка кнопками. Он вертел головой и тоже, видимо, ждал автобуса, чтобы умножить свое богатство.

Но автобуса не было.

— Порядки в том Мозамбике... — рассуждала тетя Поля, сидя со сменщицей в дежурке. — Забрали дитё и ходят с им целый день по Москве, и ходят, даром, шо такое пекло...

Она еще раз посмотрела в окно и, стуча каблуками, пошла за кипятком — пить чай. Лицо у нее было сердитое.

Жильцы из углового номера приехали только к вечеру, и как раз тогда, когда старшей горничной не было на месте.

Идя по коридору, она услыхала идущие из приоткрытой двери странные протяжные звуки. Не удержавшись, тетя Поля заглянула в комнату.

Женщина сидела, наклонившись над корзинкой, и пела.

Собственно, это даже не была песня, потому что в ней не было слов, и вместе с тем тетя Поля чувствовала, что это хорошая, грустная песня. Женщина пела, как поет ветер, как поет листва, как поет птица; один звук переходил в другой легко, подобно дыханию. Тетя Поля стояла у притолоки и слушала.

Она стояла долго, пока не устали ноги, и все не могла отойти. За этой песней ей виделись какие-то смутные картины, как в детстве, когда она лежала на возу и слушала, как поют чумаки. Она видела тогда какие-то огни в степи, и незнакомые далекие хаты, и незнакомых людей, которые ее звали... И сейчас, стоя у притолоки и слушая этот хрипловатый, гортанный голос, она тоже видела далекие огни, леса и примятые тропы, бег чужих рек и лица чужих детей — незнакомую жизнь, которая перед ней приоткрылась, подобно этой приоткрытой двери.

Может, это и был Мозамбик?

Кто же скажет, может, это действительно был Мозамбик?..

Тетя Поля стояла, пока женщина перестала петь, и из комнаты было слышно только тихое дыхание спящих. Тогда она на цыпочках отошла.

На следующий день, когда старшая горничная поднялась на второй этаж, жилица из углового номера стояла в коридоре. На ней была та же одежда, что и вчера, но голова была повязана какой-то торчащей лентой, в руке она держала пеструю сумку, а на шее были громадные, как сливы, бусы. Чувствовалось, что она принарядилась.

Завидев тетю Полю, женщина стала махать руками и показывать, чтобы та зашла в номер. Она что-то говорила, горячо и быстро, выставив вперед темно-сиреневые ладони, потом показывала на ребенка и опять что-то говорила, тыкая пальцем на висящие в коридоре часы. Ребенок спал, сжав черные кулачки. Муж стоял возле корзинки и тоже время от времени что-то произносил, поднимая три пальца. Наконец тетя Поля догадалась, что они уходят на три часа и просят ее побыть с ребенком.

— Материнское дело — такое дело: не помогут, не вынянчишь, — сказала она степенно. — Посмотрю за ним, чего там!

Она успокаивающе погладила женщину по плечу, и та, просияв, подхватила свои юбки и ринулась вниз к автобусу. На площадке ее попытался перехватить рыжий мальчик со значками, но тетя Поля не дала ему развернуться.

— Тебе что? — спросила она грозно.

— Хау ду ю ду? — нахально произнес мальчишка, но на всякий случай отступил. — Тетя, я хочу значок из Черной Африки.

— Скажи, какую моду взяли! Отдохнуть людям не дают. Иди отсюда, кому сказала...

Мальчишка ушел, и она занялась уборкой. Все номера уже опустели, словно постояльцев выдуло ветром. В угловой комнате на полу лежал дымящийся солнечный луч. Ребенок спал.

Тетя Поля то и дело заглядывала в комнату, но дитя спало крепким африканским сном. Так оно проспало два часа. В конце третьего часа, когда она собиралась спуститься, из угловой комнаты послышался громкий, требовательный крик.

Едва тетя Поля наклонилась над корзинкой, как ребенок умолк.

Он лежал на спине, ничем не прикрытый, разбросав ножки с розовыми пятками, и смотрел на нее круглыми, как пуговки, глазами.

— Сейчас мама придет... — сказала тетя Поля. — Подожди трошки.

Она отошла в коридор, и из комнаты тут же снова послышался звонкий плач. Вернувшись, тетя Поля потрогала рукой простынку в корзинке.

— Эге! — сказала она. — Понятное дело...

Она поискала глазами сухие пеленки. Нет, пеленок не было. Тогда она решительно сняла с крючка чистое полотенце и подложила мальчику под спинку.

Он успокоенно замолчал, но едва она сделала шаг назад, как он закричал, что есть мочи. Все было ясно: прошло три часа, и дитя проголодалось.

— Вот мы какие голосистые, — сказала тетя Поля и взяла ребенка на руки. Он крепко схватил ее за ворот черными пальчиками. Пахнул он молоком и теплом, как пахнут со сна все маленькие дети. — Бачишь, кошечка...— сказала тетя Поля, поднеся его к окну. — Бачишь, собачка бежит...

Она привычно подняла его, подложив широкую ладонь под его черный задок. Ребенок раскрыл толстые губки и залился плачем.

— Нема нашей мамы! — сказала тетя Поля. — Ну, шо ты скажешь, ушла и пропала...

Мальчик орал, не переставая. Напрасно тетя Поля подносила его к окну, вертела перед ним стеклянной пробкой и даже пыталась танцевать, с трудом сгибая ревматические ноги. Дитя хотело есть, вот и все.

В комнату несколько раз заглядывали уборщицы, пришел полотер дядя Федор. Все они давали различные советы, которые тете Поле было попросту смешно слушать. Она родила четверых и прекрасно знала, что такое, когда для ребенка наступило время еды. Прошло уже около четырех часов, а родители все не возвращались, словно провалились сквозь землю.

— А ну, сбегай в дежурку за чаем, — скомандовала тетя Поля уборщице Гапкиной, которая стояла, вытянув шею, точно гусенок, и смотрела на орущего мальчика.— Та посладще сделай. Чего уставилась, не видала, як диты плачут? На окошке торбочка с яблоками, я для Гнатика купила. Потри яблоко на терке. Швидко!

Гапкина умчалась, и через несколько минут, запыхавшись, влетела обратно в комнату. Тетя Поля осторожно влила с ложечки в открытый ротик ребенка теплый сладкий чай. Мальчик с отвращением его выплюнул. Она пробовала дать ему натертое яблоко. Мальчик на секунду замолчал, уставившись на нее, но потом сердито дрыгнул крепкой черной ножкой и закричал еще громче.

— Який же он, цей Мозамбик! — с отчаянием в голосе сказала тетя Поля.— И шо там диты кушают? Чай не берет, яблоко не берет...

Привлеченная криком, в комнату зашла Мария Петровна, дежурный администратор. Она долго молча смотрела на красную, растрепанную тетю Полю, которая ходила по комнате, качая орущего со всей мочи ребенка.

— Потерпи ще трошки, люба моя...— сказала тетя Поля, с надеждой поглядев на часы. Дитя пнуло ее кулачком в толстую грудь и зашлось от крика.

— Слушайте, тетя Поля, — сказала Мария Петровна задумчиво.— А что, если попросить Терехину? Как вы думаете?

— Ой, боже ж мой! — сказала тетя Поля и остановилась как вкопанная с ребенком на руках.— Как же я сама не догадалась, старая дура!..

Когда она вошла, прижимая к себе ребенка, в маленькую комнатку позади вестибюля, гардеробщица Терехина была там. Она сидела на стуле, расставив крепкие ноги с толстыми икрами, и кормила свою грудную дочку, которую ей принесли из дома. Туго спеленатая, крошечная, как кукла, девочка лежала на ее руках и, насупившись, сосала огромную материнскую грудь.

— Слушай, Терехина... — сказала тетя Поля, запыхавшись. — Видишь, какое дело. Ушла мамаша, а ему есть пора. Прямо зашлось дитё от крика. А такой славный мальчишечка, такой бедовый...

Увидев на руках у тети Поли черного, блестящего, как маслина, ребенка, Терехина словно окаменела. Она уставилась на него, раскрыв свои светлые, точно озерки, глаза. На курносом ее носу блестели росинки пота.

— У тебя ж на четырех хватит, — сказала тетя Поля, косясь на ее тяжело свисающую грудь. — Тебе ж это пара пустяков. А, Терехина?

— Ну и ну! — только и сказала Терехина, не спуская глаз с ребенка.

Дочка ее пошевелилась, продолжая сосать, и она, не глядя, чуть прижала пальцами грудь.

— Давай! — вдруг сказала Терехина решительно и расстегнула кофточку на две последние пуговки. — Чего уж, раз такое дело! Не пропадать же парнишке. Небось, мамаша за бегалась: тоже не каждый день в Москву приезжает...

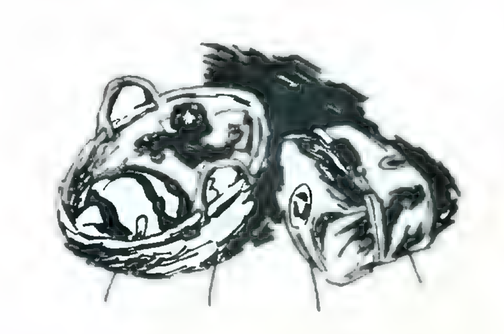
Она выпростала вторую грудь и взяла у тети Поли ребенка. Тот сразу замолчал и, вцепившись обеими ручками в грудь, быстро и блаженно зачмокал.

— Гляди, как берется! — сказала Терехина изумленно. — Толковый!

— Соображает... — сказала тетя Поля.

— Откуда это его привезли? — спросила Терехина и положила ребенка удобней.

— Та с Мозамбика ж, чудачка! — сказала тетя Поля и с облегчением опустилась на другой стул. — С Мозамбика...



НА ВСЮ ЖИЗНЬ...

И. В. ЖОЛТОВСКИЙ,
действительный член Академии строительства и архитектуры СССР



Встречи с товарищем Лениным остались для меня на всю жизнь незабываемым событием. Уже после переезда Советского правительства из Петрограда в Москву, в августе 1918 года, я получил приглашение прийти к Ленину для беседы в здание бывшей городской думы, где Владимир Ильич тогда работал. Признаться, было это полной неожиданностью. Я знал, что Владимир Ильич очень занят, положение республики трудное: разруха, война. Трудно было предположить, что в такие тяжелые дни могут понадобиться мои знания и опыт архитектора.

И все же оказалось, что вызвал меня Владимир Ильич именно для беседы по вопросам архитектуры. Это показалось мне весьма знаменательным, как свидетельство глубокой веры Ленина в победу народа, его стремления создать для народа новую Москву, достойную столицу первой в мире Советской республики.

Владимир Ильич стал расспрашивать о том, какие, на мой взгляд, имеются перспективы реконструкции Москвы. Нельзя было не поразиться его глубоким познаниям в вопросах градостроительства. Учет влияния господствующего ветра, создание разных зон города, значение крупных зеленых массивов, сложные проблемы транспорта — все было хорошо знакомо Владимиру Ильичу.

С интересом встретил он предложение — развивать новые жилые кварталы на юго-западе, в районе Воробьевых гор и Лужников, а промышленность сосредоточить в восточных районах. Тогда постоянные в Москве ветры юго-западного направления стали бы отгонять от города вредные газы фабрик и заводов, принося с собой свежий воздух окрестных лесов и полей.

Горячо поддержал Ленин и идею создания крупных зеленых массивов — «резервуаров кислорода» — в центре Москвы, напомнив в этой связи о лондонском Гайд-парке, парижских Елисейских полях, венском Ринге. Для решения проблемы транспорта было намечено строить в будущем в Москве метрополитен.

Многое из положений тогдашнего генерального плана «Новой Москвы» приемлемо и сейчас. Работая сегодня над проектом реконструкции центра Москвы, мы стремимся следовать советам Ленина. Мы предполагаем создать вокруг Кремля цепь парков и бульваров, озеленить набережные и разгрузить их от транспорта. Приближая зелень непосредственно к реке, заложим большой парк на территории «болота» и «стрелки» — от Устьинского до Крымского моста.

Строительство жилых домов в юго-западном районе Москвы, строительство метрополитена — все это претворенные ныне в жизнь замыслы Владимира Ильича о будущей Москве.

Делясь со мной этими планами, Ленин не раз напоминал о необходимости бережного отношения к памятникам русского зодчества. Все ценное, созданное гением человечества, необходимо сохранить, говорил он.

С иронией относился Владимир Ильич к лозунгам некоторых деятелей, пытавшихся строить новую, советскую культуру, что называется, на голом месте. Помнится он говорил: — Мы не отказываемся от всего старого только потому, что оно старое, и не всякое новое мы поддерживаем.

Мудрые ленинские мысли о культуре нового общества я записал тут же с его слов: «Нужно взять всю культуру, которую оставил капитализм, нужно взять науку, технику, все знания, искусство. Без этого мы жизнь коммунистического общества построить не сможем».

Запись была мною сделана на обратной стороне листочка-пропуска, на котором рукой Владимира Ильича были помечены дата и время назначенного мне свидания. Эта драгоценная реликвия хранится у меня до сегодняшнего дня.

В те памятные годы мне не раз приходилось встречаться с Владимиром Ильичем в связи с работой над проектом «Новой Москвы», которым он очень интересовался. Выполнял я и другие его поручения, например, по реконструкции Большого театра и Театральной площади, по созданию проекта Первой сельскохозяйственной выставки и т. д.

Зачастую наряду с практическими вопросами Владимир Ильич касался в беседах общих вопросов искусства, которое он великолепно понимал и горячо любил. Он отстаивал подлинную красоту в искусстве, призывал художников, создавая новое, исходить от прекрасного. В то же время Ленин предостерегал от увлечения поверхностной и слащавой мещанской «красивостью». Навсегда запомнились мне слова Владимира Ильича, сказанные в заключение одной из бесед: «Делайте красиво, но только без мещанства».

Обаятельны были в Ленине его симпатия к людям, теплота, сердечность. Большой мыслитель с поистине необъятными знаниями, он умел терпеливо выслушивать собеседника и относился всегда с уважением к его мнению.

Владимир Ильич обычно садился совсем рядом со своим собеседником, и самый деловой разговор приобретал особенную задушевность.

Вождь народов, озабоченный судьбами человечества, он умел видеть людей с их радостями и заботами и всегда был готов поддержать в беде, помочь.

Вождь революции, великий мыслитель и в то же время простой и обаятельный человек — таким сохранился в моей памяти дорогой образ Владимира Ильича.

→

Огни Москвы.
Фото И. Кошелькова.



Наш путь

Ашот ГАРНАКЕРЬЯН

Все, чем сегодня
Гордиться с тобою мы вправе:
Наши дороги крутые,
Ведущие к славе,
Наши мечты, наши помыслы,
Ставшие былью,
Жизнь, у которой
Могучие выросли крылья,—
Он озарял своим именем,
Ясным навеки.
Могут иссякнуть
Когда-нибудь
Горные реки,
Скалы исчезнут,
Но в памяти мира нетленен
Нам указавший
Пути справедливые
Ленин.

Все, что мы кровью своей
В Октябре отстояли,
Полною мерой награды
Теперь расцвело.
Мысль человека,
Пронзившая времени дали,
Мрак озарила,
Чтоб стало повсюду светло.
К дальним потомкам
Свои он протягивал руки
В годы, когда
Громыхали раскаты
Над Смольным.
И оттого с благодарностью
Ленина внуки
Именем этим клянутся
За партою школьной.
У пионерских костров
Это имя мы слышим
И у знамен боевых,
Что взлетают все выше.

Стал он мерилом
И чести и совести нашей,
Семенем истины,
В каждую душу запавшим,
Символом мужества,
Той путеводной звездою,
Что озарила просторы
Вселенной собою.
Частицею каждого сердца
Жизнь его стала,
Можно измерить
Лишь вечностью
Дел его круг.
Он — нашей эры заря,
Нашей жизни начало,
Нового мира
Великий строитель
И друг.

Заявка № 1001

Михаил СУРГУТАНОВ,
лауреат Ленинской премии.



Вы просите рассказать о самом памятном событии в моей жизни? Таких событий было много, но все они связаны с заявкой, которую 9 апреля 1949 года я, тогда летчик Аятской геологоразведочной экспедиции, принес в Уральское геологическое управление. Она была зарегистрирована под номером 1001.

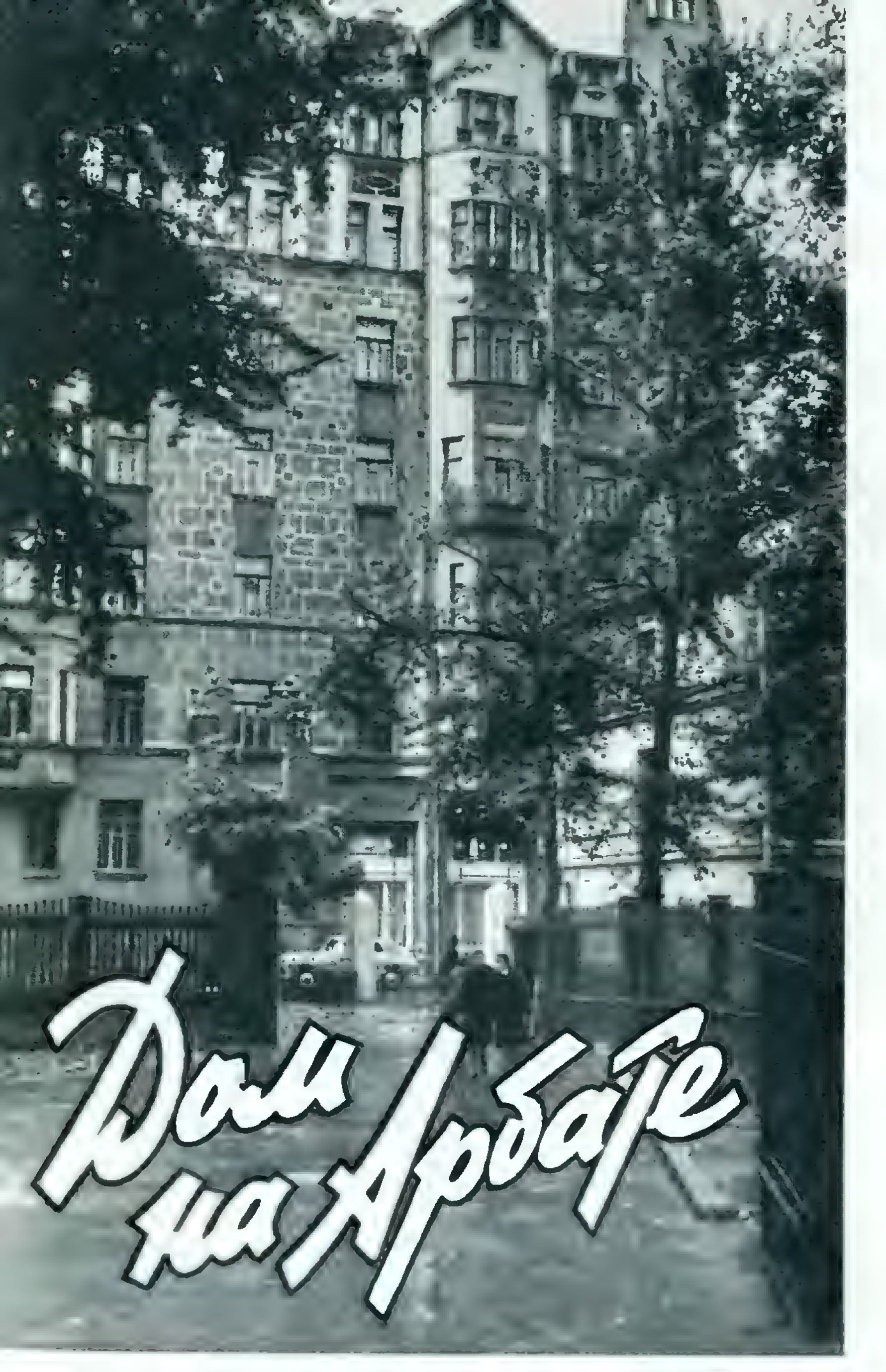
Пожалуй, ничто не сравнится с моей радостью и гордостью, какие я испытал, прочитав в газетах о том, что первые тысячи тонн руды отправлены с нового Соколовско-Сарбайского железорудного месторождения на металлургические заводы Урала. Ведь оправдались самые смелые наши предположения — мои и моих товарищей геологов!

Весной 1949 года мне пришлось совершать очередной полет над унылой Тургайской степью. Возил я почту и грузы из Ново-Николаевки, где находился тогда центр Аятской геологоразведочной экспедиции, в Кустанай. Вдруг над Сарбайским урочищем заколебалась стрелка компаса. Она резко отклонялась к югу. Еще и еще раз во время полетов я проверил это странное явление, пока мелькнувшая догадка не превратилась в твердую уверенность: в районе Сарбайского урочища — мощная магнитная аномалия, а следовательно, и большие запасы железной руды!

Так родилась заявка №1001. А через некоторое время специально снаряженные экспедиции геологов подтвердили наличие в Тургайской степи огромных запасов магнетитовых руд. По заключению специалистов, новые месторождения превышают разведанные запасы железных руд Урала, включая гору Магнитную, и являются одними из крупнейших в мире. На карте моей Родины появилась новая горнорудная база, которая уже через три года должна дать металлургическим заводам Урала более пяти с половиной миллионов тонн руды.

В Тургайской степи возникли мощные промышленные предприятия, работают тысячи механизмов, растет новый социалистический город горняков.

Как первооткрывателю известного теперь всей стране Соколовско-Сарбайского железорудного месторождения мне присвоено почетное звание лауреата Ленинской премии.



Дом на Арбате

Я. МИЛЕЦКИЙ

Фото С. Фридлянда.

В БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА...

Если вам приведется побывать в Москве и попасть на Арбат, обратите внимание на большой серый дом под номером 35. Старожилы по привычке называют этот дом филатовским, потому что некогда он принадлежал крупному торговцу-скобянщику Филатову.

Купец построил его для таких же богатеев, как и он сам. Он темно-серого цвета, украшен замысловатой лепкой и укрытыми в нишах скульптурами. Строил дом самый дорогой архитектор, а для выполнения лепных работ приезжали специалисты из Америки и Франции. Все это придавало дому особую привлекательность в глазах миллионеров, и они готовы были заплатить любую сумму, чтобы заполучить квартиру у Филатова.

Предприимчивый скобянщик не щадил толстосумов, назначал неслыханные цены и каждому «клиенту» отделывал апартаменты по вкусу. Сдав все семьдесят пять квартир, Филатов одним махом вернул солидную толику денег, затраченных на строительство.

Поселились в этом красивом, благоустроенном доме крупные фабриканты братья Данкины, владелец ювелирных магазинов Щеклеев, преуспевавший адвокат Прасолов, купец-миллионер Горбов, занявший сразу две квартиры, и многие другие.

Одну из квартир снял фабрикант Тарасов для любовницы сына. Оттуда часто раздавались пьяные голоса разгулявшихся купчиков и пение красавицы Алисы, развлекавшей своих богатых поклонников и покровителей.

У парадных подъездов стояли швейцары, одетые в шитые золотом ливреи. Им строго-настрого было запрещено впускать простых, бедно одетых людей. Для них существовал черный ход. На мостовой дежурили извозчики-лихачи и шикарные собственные выезды. Даже городовой прохаживался вдоль дома, охраняя покой его знатных обитателей.

Жил в те годы в доме мальчик, которого все звали Шуркой, и числился он «мальчиком при швейцаре». Сам хозяин таскал его часто за уши, а опьяневшие посетители купеческой содержанки бросали ему изредка семишники.

С мальчика Шурки и начнем мы наш рассказ о судьбах жителей дома № 35 на Арбате, занявших после Великой Октябрьской социалистической революции квартиры буржуазии.

ШВЕЙЦАР И ЕГО ПОТОМКИ

Шурка не был единственным представителем семьи Фроловых, служивших в филатовском доме. Родной дядя Шурки, тоже Александр Фролов, служил швейцаром. К нему-то и приехал Шурка из тульской деревни Починки. В семье его отца было четырнадцать детей.

Швейцар со своим племянником ютились под лестницей, в клетушке без света и воздуха. Им-то и выдал первый ордер на комнату Хамовнический Совет рабочих депутатов, когда купцы и фабриканты бежали из Москвы.

В домовой книге за 1957 год мы нашли запись: «Фролов Александр Васильевич. Заместитель директора ватной фабрики имени Сакко и Ванцетти».

Неужели это «мальчик при швейцаре»?

— Да, я Фролов,— представляется нам немного располневший пожилой мужчина.— Пожалуйста, охотно расскажу вам историю «мальчика при швейцаре». Я был им когда-то...

В годы революции ушел я в Красную Гвардию, в Красную Армию, а потом вернулся в филатовский дом. Почти все его прежние обитатели бежали, и в барских квартирах жили люди, которым когда-то и входить в парадное не разрешалось.

Поступил я на работу в типографию, а потом меня, беспартийного, выдвинули управляющим делами завода штампов и приспособлений. Учился на рабфаке и вскоре был назначен заместителем директора Промышленной академии. Там я работал и учился.

Потом обзавелся семьей. Теперь уже и сын женат, и я дедушка. Сын окончил институт, получил диплом инженера. Жена его тоже инженер.

— А есть в доме еще Фроловы?

— А как же! Дети моего дяди, того самого дяди, у которого я мальчиком работал. Старший — военный картограф, капитан. Второй сын — ведущий мастер на машиностроительном заводе. Неплохо, правда?

СОЛДАТ И ГЕНЕРАЛ

Из той же домовой книги мы узнали, что в одной из квартир бывшего филатовского дома живет генерал-лейтенант, кандидат военных наук, доцент, начальник кафедры Военно-инженерной краснознаменной академии имени Куйбышева Михаил Федорович Тихонов.

Хозяин квартиры сам открыл нам дверь. На военном кителе двадцать шесть ленточек орденов и медалей, среди них венгерский, американский, монгольский орден. Над орденскими планками поблескивает золотая звезда Героя.

— Кем вы были сорок лет назад, товарищ генерал?

— Слесарем в депо Финляндской железной дороги в Петрограде.

Слесарь Тихонов встречал Ленина на Финляндском вокзале, вместе с рабочими депо участвовал в историческом перевороте, в октябре 1918 года добровольно ушел в Красную Армию и с тех пор находится на военной службе. Партия бросила лозунг: «Пролетарий — на коня!» — и слесарь становится кавалеристом, поступает на московские кавалерийские курсы, командует взводом, эскадроном, работает в штабах, кончает Академию имени Фрунзе, воюет на Халхин-Голе и командует полком, в котором некогда сам служил солдатом.

Затем еще одну академию окончил — Военно-воздушную имени Жуковского.

Война. Генерал Тихонов командует бригадой, корпусом. Бои на Керченском проливе, прорыв блокады Ленинграда. За освобождение Вены Родина присваивает Михаилу Федоровичу звание Героя Советского Союза.

Мы уже собирались уходить, когда увидели молодую девушку.

— Ваша дочь?

— И да и нет...— многозначительно смотрит на нас генерал.— Формально не удочерена, фактически — дочь, Нина. Живет в нашей семье уже двенадцать лет...

— Дочь ваших родных?

— Нет, дочь солдата...

...Шла война. Корпус, которым командовал генерал Тихонов, с тяжелыми боями продвигался на запад. В комендантском взводе, несшем охрану штаба, служил солдат Иосиф Василец. В минуты затишья генерал, бывало, присаживался к солдатам, чтобы перекурить, перекинуться словцом. Он знал, что Василец тяжело переживает гибель жены и судьбу дочери, о которой не имел никаких вестей.

— Ну как, товарищ Василец, ничего нового? — спрашивал Михаил Федорович.

— Никак нет, товарищ генерал,— отвечал солдат и тяжело вздыхал.

А. В. Фролов. Он был «мальчиком при швейцаре» в филатовском доме.





Бывший слесарь, ныне генерал-лейтенант М. Ф. Тихонов с дочерью.

Однажды во время сильного артиллерийского налета противника на командный пункт корпуса солдат Иосиф Василец был смертельно ранен.

— Попросите генерала, — тихо произнес он.

Тихонов склонился к солдату.

— Дочь...

— Найду, найду, не оставлю.

Раненый вздохнул, закрыл веки и, не приходя больше в сознание, скончался.

После войны генерал Тихонов разыскал дочь солдата Васильца в одном из детских домов на Украине и взял в свою семью. Нина Василец работает на телеграфе и учится в техникуме.

МАЛЬЧИК ИЗ РАБОЧЕЙ КАЗАРМЫ

С фотографии на нас не по-детски серьезно глядит курносый, вихрастый мальчишка. Из надписи на оборотной стороне карточки мы узнаем, что это восьмилетний сын «подстаршего рабочего 33-го околотка Александр Яковлев Кормилицын».

Мы переводим взгляд на нашего собеседника, человека средних лет, с глазами умными и несколько застенчивыми. Это доцент Московского института инженеров железнодорожного транспорта, парторг кафедры автоматики, телемеханики и связи Александр Яковлевич Кормилицын. Мальчик, чье детство прошло в рабочей казарме, превратился в ученого, автора многих научных трудов.



Кормилицын — потомственный железнодорожник. Еще его дед работал на железной дороге. Отец — «подстарший рабочий» — не мог дать образование сыну. Он стал списчиком вагонов и только в мечтах видел себя техником. Не бывать бы этому, не свершись великая революция!

А революция свершилась, и паренька Александра Кормилицына вскоре послали на курсы дежурных по станции. Вот он уже дежурный по станции, диспетчер отделения, диспетчер управления дороги.

Парень страстно стремился к знаниям. Он сдал экстерном за среднюю школу. Его спросили:

— Хочешь в институт инженеров транспорта?

Когда он окончил институт, ему предложили:

— Можем оставить в аспирантуре. Согласен?

Он остался, но вскоре его потянуло на производство. Он стал работать на Курской дороге.

Ему еще раз предложили:

— Пойди в аспирантуру, займись научной деятельностью.

С тех пор он посвятил себя науке и вот уже 23 года преподает в МИИТе.

Александр Яковлевич Кормилицын работает сейчас над докторской диссертацией. Научную стезю избрала и его дочь. У нее с мужем одна специальность: они окончили философский факультет Московского университета.

Так семья сына «подстаршего рабочего» превратилась в семью ученого.

Доцент А. Я. Кормилицын с дочерью Ниной Александровной в своем кабинете.



ВЫПЬЕМ ЗА ФЕКЛУ ИВАНОВНУ!

Мы попали на семейное торжество. Лифтерша Фекла Ивановна Соловьева справляла день своего рождения. Еще за дверью мы услышали сильный хлопок — выскочила пробка из бутылки шампанского — и мужской голос, торжественно возвещавший:



Семья кровельщика В. И. Соловьева. Слева направо: внук Сережа, дочь Мария, Фекла Ивановна, Василий Иванович, сын Василий, сноха Любовь и внучка Валя.

— Выпьем за нашу дорогую мамашу, за Феклу Ивановну!

За столом сидела вся семья: старшая дочь Мария, уборщица; ее дочь Валя, внучка Феклы Ивановны,— студентка Московского института инженеров землеустройства; сын Василий — старший инженер-технолог Прожекторного завода и студент-заочник экономического института; глава семьи, пенсионер, проработавший всю жизнь лудильщиком и кровельщиком, Василий Иванович Соловьев. Не было только дочери Анны. Она на курорте. Анна окончила Институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии, работает по специальности и живет своей семьей.

Василий Иванович сказал мне:

— Еще в годы гражданской войны, когда я был в Красной Армии, я твердо решил дать хорошее образование детям. Мария была старшей, запоздала, пусть не взыщет. Зато Анну и Василия, можно сказать, заставлял учиться, потому что все возможности уже были. Вот мы с Феклой Ивановной и радуемся, что свою задачу в жизни выполнили.

Он обвел взором всех сидевших за столом и поднял бокал:

— За Феклу Ивановну, за дорогих наших деток!

— За хорошую советскую семью кровельщика Соловьева!

Все осушили бокалы.

Потом заговорили о той радости, которая ждет семью накануне великого праздника: сын Василий получает квартиру в новом доме. Тогда придется, возможно, и празднество перенести к нему: чтобы соединить его с новосельем...

...Мы побывали еще во многих семьях дома № 35 по Арбату. Узнали, что там живут литейщики и метростроевцы, библиографы и артисты, студенты и пенсионеры, профессора и служащие — те, кто въехал в этот барский дом после Великой Октябрьской революции, их дети и внуки.

ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ

Мария Тереса ЛЕОН,
испанская писательница

Начинаешь писать и не находишь слов, чтобы сказать вам, чем был для нас тот самолет, появившийся в небе Мадрида... Незадолго до этого произошла печальная ошибка: жители Ред де Сан Луис, приняв бомбардировщики врага за подоспевшую дружескую помощь, горячо приветствовали их возгласами: «Это наши, наши!» А на них посыпались бомбы нацистов... Тогда, забежав в какое-то кафе, мы торопливо набросали куплеты, чтобы боевой песней смыть чувство растерянности и страха. Написанные в народной традиции стихи быстро утратили имя автора, стали безымянными, народ распевал их, как свои:

Мадрид в бою неистов,
Им вся страна гордится.
Над бомбами фашистов
Смеются мадридцы.

А вскоре другой, чудесный самолет взмыл в нашем небе, и бомбардировщики врага рассеивались перед серебряной пчелкой, которая отважно бросалась на них, преследовала их и побеждала. Кто же там, на этих гордых крыльях? Один из военных командиров подмигнул мне заговорщически: «Твой друг! Советский летчик!» Радостно было следить за изумительной машиной и чувствовать, что сердце целого народа с нами, что верные друзья пришли нам на помощь в трагические дни Мадрида.

Сказками, старинными преданиями, колыбельными песнями для наших детей стали события 1936 года... Но сегодня вы отмечаете даты еще более давние. В 1917 году, когда я еще была ребенком, волна пролетарской гордости прокатилась по моему полуострову, и весеннее половодье забастовок шумело до 1918 года. Что-то большое свершилось на нашей планете. Люди заводов, фабрик, полей смутно сознавали, что кончилось их одиночество, с триумфом завершилось необычайное начинание: победила русская революция.

Имя Ленина... Несколько лет рождались вокруг него народные легенды, а с печатных страниц глядели фотографии, которые и сегодня рассматриваешь с изумлением и слезами в глазах. Фотосвидетельства тех лет, которые я вижу сейчас в старых испанских журналах, глубоко волнуют, за ними встает народ, исполненный неудержимого порыва, светлого сознания, и образ Ленина зажигает надеждой глаза испанцев. Как луч солнца, прорезавший обложенное темными тучами небо, надежда озарила пролетариат всего мира, и испанские рабочие с новой силой почувствовали важность борьбы, дающей им жизнь, вливающей в них свежие силы. Сама я ощутила в себе этот призыв несколькими годами позже. Но как лучшее в моей жизни — в нашей жизни — вспоминаю я митинги в небольших окраинных залах, где иногда просто танцевала молодежь, а временами там звучала и мелодия «Интернационала». Над скромным столом ораторов, за которым иногда и мне приходилось сидеть, Ленин с прищуренными глазами, нарисованный неопытной рукой, был представителем любимейшего народа.

В те дни произошел знаменательный случай: испанский мальчик пешком прошагал много километров из глубины страны до порта Валенсии только для того, чтобы своими глазами увидеть издалека плывущий в море корабль страны рабочих. Позже этот паренек погиб в Мадриде. Так он и не увидел вашего корабля...

Максиму Горькому очень понравился рассказ об этом мальчике. Мы взволнованно говорили ему о том, что Советский Союз предстает перед людьми самых разных и самых дальних мест словно живительное излучение. Но о следующем случае я уже не могла ему рассказать... Это было в одном из прекрасных и печальных, темных и гордых селений Испании. Сюда донеслась весть о смерти пролетарского писателя. Максим Горький умер. Я рассказала об этом в пастушеских хижинах. Был ранний вечерний час, и стада еще отдыхали на пастбищах или возвращались в загоны по тем самым пыльным дорогам, на которых когда-то наблюдал их Сервантес, прежде чем описать одно из удивительных приключений Дон Кихота. В поселке оставались старухи, молодые девушки, дети. И все они плакали, обнажив головы, лишь потому, что на другом краю Европы, которого никогда не видели они, кончилась жизнь писателя страны революции.

Долгие годы моей жизни ношу я вас в своем сердце, и многие были разбужены вами. Взволнованно бились наши сердца, чувствуя, что мы поем ту же песню. Влияние Советского Союза ощущалось в самых отдаленных уголках. Однажды в маленькой школе нас встретили с написанным мелом на классной доске стихотворением Рафаэля Альберти:

Он рабочему парнишке
дал тетради, книжки,
дал чернильницу и перья,
эту доску
с красным мелом.
Буду грамотным теперь я,
образованным,
умелым!
Кто же он, тот добрый гений?
Вот, товарищ, имя: Ленин.

Сколько таких же случаев могла бы я поведать вам сейчас!..

Много хороших книг о вашей стране разошлось в тысячах экземпляров, и, любовно прочитанные по складам в народных библиотеках, они хранят на себе оттиски потных пальцев, следы времени. «Броненосец Потемкин» вспыхнул ослепительным светом, а когда в Мадриде бомбы не давали нам сомкнуть глаз, героические образы «Чапаева» воодушевляли наши сердца, помогали нам твердо стоять, не сгибаться.

Кто же так беден чувством, чтобы не сказать, чем он обязан великой революции, сороковую годовщину которой вы торжественно отмечаете? Даже враги обязаны ей, так как им приходится жить рядом с подымающимся во весь рост богатырем-гигантом, на которого волей-неволей приходится равняться! А мы, испанцы? Как нам не быть благодарными сереброкрылой птице, которая так поддерживала наш боевой дух во время испанской войны? Я говорю символами. Многие самолеты присоединились к тому, взмывшему в полдневном небе... И на кладбище Фуэнкарраля, где погребены бойцы интернациональных бригад, есть и те, чья самая честная, самая славная в мире кровь помогла Испании выдержать лавину ужасных лет. Я лично обязана вам теми незабываемыми минутами, когда в Большом театре Москвы, не умея говорить по-русски, вдруг услышала горячее: «Но пасаран!». Все женщины Испании помнят, что тогда, в 1937 году, у ваших мирных очагов нашли себе прибежище их дети, которым грозила смерть на родной земле. Разве передашь, что значило чувствовать себя испанцем в те мгновения!

Мы многим обязаны вам. Для всех стран Советский Союз будет образцом, светлой дорогой, воодушевляющим примером, и мы, испанцы, преисполнены чувства безграничной благодарности к вам. Всегда в небе нашей памяти сохранится тот сереброкрылый самолет, и вы останетесь для нас не только великой страной, продемонстрировавшей миру торжество марксистской теории, но и самой прекрасной землей на земном шаре.

Буэнос-Айрес



Мария Тереса Леон, Рафаэль Альберти и их дочь Аитана (снимок сделан в Китае).

Октябрь, 1917—1957

Рафаэль АЛЬБЕРТИ

Из прошлого встает твой голос громкий
и песней в каждое окно стучится.
Его услышат дальние потомки!
От стен Москвы на край земли он мчится.

Великий свет возник однажды в мире,
как маленькое солнце над землею.
Оно росло, и лился свет все шире,
и счастье перестало быть мечтою.

Кто это имя на земле не знает!
Следы его на всех путях вселенной.
Его заря на небо поднимает
и повторяют звезды вдохновенно.

И только те, кто слепы от природы,
не видят солнца нового над нами,
когда узнали новые народы
его огни, его цветы и знамя.

А свет растет, и весны голосисты.
Кто может блеск и песнь весны убить!
Вы видите, что правы коммунисты:
быть счастью иль не быть? Конечно, быть!

Весна и солнце коршунов прогнали,
и без помехи плещут, как ветрила,
голубок крылья: им любые дали
на небе солнце Октября открыло.

Перевел с испанского
О. САВИЧ.



А. М. Лопухов. АРЕСТ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.



А. А. Дейнека. ОБОРОНА ПЕТРОГРАДА.

ИСПЫТАНИЕ



Рассказ

Юрий НАГИБИН

Рисунки В. ВЫСОЦКОГО.



У Юрки сегодня большой день: отец дал ему ружье, и он впервые пойдет на охоту. Для мещерского мальчишки это событие равно началу новой жизни. И то сказать, Юрка намного отстал от своих сверстников. Оба его двоюродных брата, Сенька и Лешка, второй год сопровождают отца на охоту; шоферов Ванька охотится с августа и уже побывал и на Березовом корю и в Прудковской заводи; а мордастый Минька Косачев без счета лупил чибисов и куликов на Дубовом из древней отцовской ижевки с подвязанным веревкой хвостовиком и без цевья.

Юрка — пятиклассник, в июле ему стукнуло двенадцать лет, а до сих пор у него на счету нет не только утки, но даже бекаса или дрозда. На слезные просьбы сына дать ему ружье Анатолий Иванович говорил всегда одно и то же: «Знаю, к чему охота ведет, сам по причине ружья всего три класса кончил». Он давал Юрке ружье, лишь возвращаясь с охоты,— почистить щелочью и смазать ружейным маслом. Юрка самозабвенно работал деревянным шомполом, с наслаждением вдыхая едкий и сладкий запах сгоревшего пороха. Он знал, что не оплошал бы на охоте. Тайком от отца он не раз упражнялся в стрельбе из ружей своих товарищей. Метко и зло бил он по консервным банкам, пустым бутылкам, старой школьной фуражке, высоко подбрасывая ее в воздух. Конечно, он все знал про уток: их обычаи, повадки, особенности лёта; как бы высоко ни шла стая, он сразу мог сказать: это матерые, это связи, это чернеть; по виду ряски, объеденным хвощам, останкам рачков он мог определить, какие утки тут кормились; он в совершенстве подражал голосам чирков-свистунков, крякв, гоголей. Но все эти знания годились ему только во сне: что ни ночь, совершал он во сне свои охотничьи подвиги...

С начала нынешнего учебного года Юрка стал приносить из школы одни пятерки, и суровое сердце отца дрогнуло. В первых числах октября он вручил Юрке ружье, пояс-патронташ, тяжело набитый патронами, и плетеную сетку для дичи. При этом он произнес небольшую речь:

— Когда мне покойный отец ружье давал, он так говорил: «Потратишь заряд на чирка, голову оторву». Только матерых дозволял бить, они на базаре много дороже против чирков шли. А коли чирков, так уж не меньше пары с выстрела. Это сейчас что дробь, что порох — для нас пустяки, а тогда над каждой дробинкой тряслись, порох вполовину против нормы сыпали. Мы, мальчишки, исхитрялись головками от спичек патроны начинять, вместо дроби свинцовую крошку настругивали. А я тебе полный патронташ даю — тридцать патронов, бей хоть чирков, хоть ворон... А все же,— добавил он после короткого раздумья,— коли чирки подсядут, не торопись, может, они сплывутся. Охотничий закон знаешь? Бей птицу только на крыле. Утку, что не на выстреле сидит, не бей,— хоть и достанешь ее дробью, подранок все равно уйдет енотам на пищу. Как пяток возьмешь, кончай охоту. Пять уток — норма. И то только для нас, мещерцев, исключение сделано,— сказал он с гордостью.— Всюду три штуки установлено. Но как мы с браконьерством покончили и сумели строгую охрану завесть, вошла дичь снова в силу на Мещере, и нам поблажку дали...

Юрка хорошо понимал, о чем говорит отец. Анатолий Иванович был в числе первых мещерских сторожей-добровольцев, взявших в свои руки охрану быстро убывающих из-за оголтелого хищничества природных богатств края. Егеря-добровольцы вели дело жесткой рукой, это была настоящая война, которая и покончила с браконьерством.

Напутствуя сына, Анатолий Иванович испытывал легкую грусть. Вот как бежит время! Юрка, который, казалось, еще вчера елозил голым задом по полу, начинает самостоятельную мужскую жизнь. Когда сын впервые пошел в школу, на отца это не произвело особого впечатления: школа принадлежала чему-то детскому, очень далекому и забытому. Иное дело — охота. То было теперешнее существование Анатолия Ивановича, которое отныне, как равный, будет делить его сын. И как еще заладится его охотничья и человеческая судьба?! Анатолий Иванович был слишком опытным, искушенным охотником, чтобы не понимать важности этого шага. Мещерцы проводят на охоте большую часть жизни. Поведение человека на природе во многом определяет его поведение и среди людей. Мир животных, птиц, рыб и растений беззащитен и полон искушений для человека. Ничего не стоит попустить себя, дать волю низким и жадным чувствам и потерять устой в душе. Он сам в молодые годы испытал силу темных велений, охватывающих человека в лесном и озерном одиночестве, в том опьянении властью, какое дает ружье. Он заваливал лосей не по нужде, а по глупой лихости, потому, что это запретная дичь; без счета и смысла губил вокруг себя зверье и птиц. И живя темным законом, сам как-то душевно огрубел и опустился. Армия, война, потеря ноги остудили его, заставили многое передумать наново. Он спасся. А вот его товарищ по охоте и дальний родич Костенька погиб. Безобразничал с молодых годов в природе, так и во всем стал безобразником. Растерзанный, ленивый, ни муж, ни отец, ни работник — «пятый туз». И чего далеко ходить: Минька Косачев с восьми лет приобщился к охоте, парень толковый, смекалистый, а в первом классе два года просидел, во втором на третий остался. «Мой Минька основательно учится,— уныло говорит о нем отец,— к армии, может, пять классов одолеет, там доучат».

Анатолий Иванович посмотрел на худенькое Юркино лицо с оттопыренными, смешными ушами и блестящими, как медные пуговицы, глазами и вдруг понял, что не стоит больше ничего говорить. Слова эти Юрка и сам знает, но зазвучат ли они в нем там, на озере, когда он будет предоставлен самому себе, кто знает?..

— Уроки выучишь и ступай,— сказал он усталым голосом.

«Вечерняя зорька накрылась,— отметил про себя Юрка.— Неужто нельзя ради такого случая разок не приготовить уроков?» Но спорить не стал, зная твердый нрав отца.

С уроками он провозился до половины двенадцатого, никогда, казалось, задачи не были так головоломны, примеры длинны, а стихотворение никак не ложилось в память. Шепча про себя: «Унылая пора! Очей очарованье!..»,— Юрка сложил в портфель учебники и тетрадки, взобрался на лежанку и прикорнул у теплого бока отца.

Ровно в два часа ночи хрипло залился будильник, залился не для отца, как это всегда бывало, а для него, Юрки.

Анатолий Иванович с печки следил, как сын снаряжается. Вот он натянул лыжные брюки, фуфайку, а поверх надел отцовский ватник, который сидел на нем, как пальто, набил сена в материны резиновые сапоги, обулся, потопал пятками об пол, подпоясался патронташем, в котором еще днем проделал новую дырку, нахлобучил шапку-ушанку и, наконец, снял с гвоздя ружье. Ружье он повесил на правое плечо, а на левое — сумку для дичи. Из обычного лопоухого, худенького Юрки он превратился в небольшого, плотного, справного мужичка, и отец с непривычным теплом сказал:

— Ни пуха ни пера, товарищ охотник!

Юрка неприметно сплюнул в угол: так полагалось, если ты не можешь ответить: «Пошел к черту!»

Хлопнула дверь, Анатолий Иванович услышал, как залилась, закрякала подсадная, которую Юрка сажал в плетушку, затем все стихло...

У Юрки не оказалось попутчиков: охотники ушли еще накануне, на вечернюю зорьку. Путь на Великое лежал через два леса и два

болота. Полная луна светила так ярко, что ему не понадобился даже электрический фонарик, который он повесил на верхнюю пуговицу ватника. И пока Юрка шел деревенской улицей, а затем небольшой лужайкой за околицей, он ничего не боялся. И, вступив в лес, он тоже не струсил. Прозрачно-зеленоватый свет заливал просеку, по которой вилась тропка, да и между деревьями не было черноты: лунный свет проникал всюду, и нечего было опасаться внезапного нападения. Да, и кто мог на него напасть? Волки осенью людей не трогают, лось смирный, а медведей здесь не водится. А в лесовика Юрка не верил. Это все Минькины выдумки, будто ночью по лесу бродит небольшой горбатый старик с зеленой до колен бородой и черными, пустыми очами. Но береженого бог бережет, и Юрка на всякий случай снял с плеча ружье и взвел курки. Если б внезапно не вскрикнула в плетушке подсадная, он бы и не подумал бежать: слишком резок и неожидан был этот вскрик в молчащем лесу.

Задыхаясь, Юрка остановился на опушке. Шея под воротом ватника была мокрой, по груди текли холодные, медленные капли. Хорошо хоть он побежал вперед, а не назад, каково было бы заново идти через лес! Перед ним лежало болото. Скошенная в конце августа трава не успела отрасти, и болото было плоским и открытым во все стороны. За болотом темнел редкий дубняк вперемежку с рябиной и соснами, и этого леска Юрка нисколько не боялся. Он был такой сквозной и хоженый, что там негде хорониться лесовику.

Болото упруго проминалось под ногой, будто дышало, затем Юрка ощутил твердый упор лесной почвы, тропинка пропетляла меж соснами, скользнула под старым дубом, и повеяло мягким, влажным теплом близкого озера. За деревьями сверкает черная вода, еще немного по заболоченному берегу — и он у цели...

На Великом все меняется очень быстро. На глазах у Юрки густой белый туман поглотил озеро. Нагретая не по-осеннему сильным солнцем вода остудилась за ночь куда меньше воздуха, и теплое, парное озеро истаивало туманом в ночную знобкую студь. Туман поглотил не только далекий Салтный мыс и Березовый корь, но и ближние островки ситы, шалашики охотников, обрезал берег справа и слева, скрыл горизонт, которому пришла уже пора розоветь. Затем, поднявшись выше, погасил и звезды, одна лишь полная, круглая луна проблескивала из тускло-желтого размыва.

У Юрки подозрительно зачесалось в горле. Не найти ему отцова шалашика в густом молочном месиве. Значит, пропала его первая охота? Нет, он найдет шалашик, хотя бы ему пришлось ошарить все озеро.

Он нащупал весло в мокрой, скользкой осоке, отвязал челнок и с силой оттолкнулся от берега. Челнок нехотя сдвинулся с места, взмутив воду, прополз по илистому дну и после нескольких толчков стал легким: его приняла глубокая вода.

Шалашик отца находился напротив старого вяза, у левой оконечности Березового коря. Надо держаться берега, а затем взять немного влево. Берег был почти невидим, лишь порой в белесой мути угольно вычерчивалась верхушка стога или крона дерева. Будь этот проклятый туман хоть недвижим, но он тек, он бежал над водой, кружил голову и невольно увлекал за собой. Вскоре Юрка уже не знал, где находится. То вдруг шуршала ряска под днищем челнока и выступала сита черной стенкой, но он не узнавал ее, потому что очертания озерной поросли были скрыты за туманом. То он попадал в сухую гущу камыша и с облегчением думал: рядом должен быть Салтный. Но камыш вдруг кончался, и он вновь оказывался на чистом. Порой ему казалось, что он кружит, как слепая лошадь, возвращаясь все время к исходной точке, а порой, что заплыл не то в Дуняшкину, не то в Прудковскую заводь.

Послышался странный, незнакомый звук, будто прачка шлепает жгутом белья по воде. Юрка сообразил, что это весельная лодка. У местных охотников были только кормовки. «Видать, городские»,— подумал он. В тумане обрисовался задранный кверху нос моторки, потом два нависших над водой весла, с кото-



рых, звеня, сбегали капли воды. И голос егеря Петра Ивановича произнес:

— Эй, в лодке, где мы находимся?

— А я и сам не знаю, Петр Иваныч! — отозвался Юрка.— Заблудился.— И с мальчишеским любопытством добавил: — А почему вы без мотора идете?

— Какой тут к черту мотор! — ворчливо сказал егерь.— Того гляди, винт запорешь. Салтный не знаешь где?

— Вроде бы слева... Или справа,— ответил Юрка.

Егерь коротко выругался, и лодка скрылась в тумане.

Уже туман начал просвечиваться желтизной восхода, когда Юрка наткнулся на шалаш, в котором устраивался охотник. Юрка хотел окликнуть охотника, спросить, как ему проехать к Березовому корю, когда туман с бешеной быстротой потек к западу, забивая рот словно мокрой ватой, затем взлетел кверху и вмиг исчез. Сделав свою работу, рассветный ветер сразу стих. Простор расчистился и стал виден до последней камышинки, серебристо-голубой вверху, золотистый по горизонту, где вставало солнце, угольно-черный там, где берег и деревья. А вода, огненноперая под восходом, стала незримой на всем остальном зеркале озера, она казалась единой с воздухом, неосязаемой, невесомой прозрачной стихией.

И тут Юрка разглядел и охотника и шалаш. Охотник был его крестным, Петром Данилычем, и шуровал он в шалаше, построенном его отцом.

— Крестный! — с обидой, гневом и возмущением закричал Юрка.— Ты чего чужой салаш занял? — он крикнул «салаш», вместо «шалаш», потому что так произносили это слово взрослые охотники.

— Кто это шумит? — отозвался крестный.— Голоса не узнаю!

— Это я, Юрка! А шалаш отец ставил!

— Ну и занимай свой салаш,— миролюбиво сказал крестный.— Заблудился я, понимаешь...— добавил он смущенно.

Выжив крестного из шалаша, Юрка покидал на воду чучела и чуть поодаль спустил подсадную. Потом он завел челнок в сумеречную, построенную из ситы и березовых веток пещерку.

Все было так, как ему не раз мечталось и снилось. Качались на мелкой зыби чучела, поворачиваясь то боком, то носом, чистила перья и вдруг начинала метаться пригвожденная грузилом подсадная, вились маленькие стрекозы со стеклянными крылышками какая-то птичка с зеленой нашлепкой на голове с шумом вспорхнула из ситы и села на камышинку, пригнув ее до самой воды; сладкая тревога нудила сердце, а тело было охвачено той странной из холода в жар дрожью, какая бывает перед болезнью.

Подсадная то перекликалась со своими соседками коротко и взволнованно — вокруг было много шалашей,— то вдруг начинала частить скрипучим, в себя, голосом, и тогда над шалашом или чуть поодаль пролетали: выше — осторожные, крупные кряквы, ниже — более беспечные, рассчитывающие на свою скорость чирки-свистунки и чирки-трескунки. Но Юрка замечал их слишком поздно, когда они были уже за пределом выстрела. Да он и не рискнул бы стрелять по ним: верный промах, и перед отцом будет стыдно.

Подсадная снова зачастила своим скрипучим, ржавым голосом. Юрка глянул вверх, ожидая, что там пролетит или стая или одинокая утка, но небо было пустынным, если не считать большой, медленной чайки. А когда Юрка опустил глаза, то прямо перед собой увидел крупную шилохвость с длинной, по-лебяжьи изогнутой шеей. Вот о чем сигналила подсадная! Он не заметил прилета шилохвости, не слышал всплеска, когда утка опустилась на воду; казалось, она всегда сидела тут, спокойно и гордо выгнув длинную шею.

Руки так дрожали, что Юрка долго не мог поймать шилохвость на цель. Наконец он спустил курок с покорным и горьким ощущением неминуемого промаха. И когда прошло короткое остолбенение от выстрела, он увидел распластанное на воде тело утки. Ни одно перышко не шевелилось на ней.

Челнок стрелой вылетел из шалаша, на корме сидел не прежний застенчивый, поглощенный робкой и неотвязной мечтой мальчик, а грозный победитель, познавший свою силу и власть. Он и внешне изменился. Глаза его сузились и обрели необычайную подвижность, они зыркали во все стороны на гибких, упругих мускулах, высматривая добычу, даже уши его не торчали так доверчиво и бессмысленно,— они хищно прижались к стриженой голове.

За шилохвостью последовала пара чирков, взятых дуплетом, за чирками — гоголь; уже начался прилет северной дичи, за гоголем — чернеть, или, как говорят в Мещере, черныш. Этот черныш сел метрах в шестидесяти от Юрки и сидел долго-долго носом к нему. С трудом преодолевая искушение выстрелить, Юрка тщетно пытался приманить его. А затем кто-то, видимо, раздраженный упорством черныша, послал ему в хвост заряд дроби из далекого шалаша. Черныш захлопал крыльями, но вместо того чтобы взмыть вверх, перелетел поближе к Юркиному укрытию. Верно, черныш был еще молодой, необстрелянный. «Есть!» — проговорил Юрка, спуская курок: теперь он не сомневался в попадании. Этим чернышом кончилась его охота.

Пять выстрелов — пять уток. Экзамен выдержан! Юрка потянулся, распрямил усталую спину. Пора и домой! Он слегка привстал, чтобы достать весло, и вдруг испуганно нагнул голову: ему показалось, будто кто-то метнул в него горсть камней. Камни не задели его и с шорохом осыпались в воду. Все еще не понимая, что это было, Юрка огляделся, и сердце его оборвалось. Перед шалашом опустилась большая стая свиязей. Она прошла на посадку над самой его головой, не заметив ни шалаша, ни челнока, ни охотника в стремительной быстроте посадки. И к этой первой стае подлетали все новые тройки и четверки; непуганая, разжиревшая на севере дичь будто дразнила охотника. Толстенькие белобрюшки были так близко от него, что Юрка отчетливо видел их синеватые клювы, мог пересчитать каждое дымчато-коричневатое перышко в крыле.

Пальцы судорожно сжали ружье. Юрка знал, что не должен, не имеет права стрелять, но это было сильнее его. И зачем дал ему отец столько патронов? Их медные головки с чистыми, гладкими кружочками кап-

сюлей маняще поблескивали в гнездах патронташа. Неверным движением Юрка извлек два патрона и вложил в стволы. Суровый наказ отца померк в его памяти. Палец, лежавший на спусковом крючке, словно судорогой свело на холодном кусочке металла — Юрка был невластен над ним.

И все же он медлил. Едва ли он сознавал, что в этой душевной борьбе решалось его будущее: пойдет ли он прямым и трудным путем правды или окольным и легким путем кривды. Но он чувствовал, что сейчас произойдет что-то скверное, гадкое, о чем он сам будет жалеть и от чего не в силах отказаться. Юрка беспомощно огляделся, словно искал помощи против самого себя. Но кругом были лишь тихо покачивающиеся озерные травы, небо, вода и усеявшие ее утки. Он был один, никто не мог ему помочь. Но помощь пришла. Она возникла в самом Юрке внезапным и сильным воспоминанием...

Это было третьего дня. Учительница рассказывала им, детям охотничьего края, о Ленине-охотнике, бродившем с ружьем и ягдташем по болотам и озерным берегам Подмосковья. Оказывается, Ленин был страстным охотником и, хоть охотился в одиночку в незнакомом крае, всегда находил места, где еще не перевелась дичь. В те годы дичь была сильно повыбита, всякий, кто по нужде, а кто по озорству, разорял оставленную без пригляда природу. Окрестные охотники не раз видели, как Ленин подымал из камышей чирков, пробирался по пояс в воде к бекасиной стайке, вспугивал плавающих на чистом крякв, заставляя их лететь на выстрел. Ни одну зорьку не пропускал Ленин, но, странное дело, почти всегда возвращался с пустым ягдташем. И крестьянам тех мест, где охотился Ленин, стало обидно за него. Им казалось: что бы ни делал Ленин, он должен делать это лучше, умелее и удачливее всех. И вот однажды, когда Ленин возвращался с охоты, посвистывая с довольным видом, точно он набил невесть сколько дичи,— а ягдташ его по обыкновению был пуст,— один повстречавший его старый охотник сказал с насмешливым сожалением:

— Что, Ильич, хитра для тебя наша утка?

— Отчего же? — пожал плечами Ленин.— У всех уток одна повадка.

— А то, может, мои стекла возьмешь? — И старик снял с носа очки с подвязанными ниткой дужками.

— Спасибо, дедушка, покамест еще не требуется,— сказал Ленин и поглядел на старика своими свежими, острыми глазами.

Высоко в небе, распластав крылья, кружил над деревней ястреб, высматривая добычу. Ленин вскинул ружье, сощурил левый глаз, раздался выстрел, и ястреб, теряя перья, кувырком пал на землю.

— Так вот ты какой стрелок, Ильич! — смущенно проговорил охотник.— Значит, сам на себя запрет кладешь...

Ленин улыбнулся, притронулся к козырьку кепки и пошел своей дорогой.

Ленин любил терпеливый, трудный охотничий поиск, землю на рассвете, напряжение борьбы, но он не хотел без нужды отнимать жизнь у пернатых обитателей болот и озер.

Слабая, задумчивая улыбка тронула красные Юркины губы. Он разрядил ружье, достал из воды плавающие солдатиком стреляные патроны, обтер их полой ватника и вогнал в стволы. Разбухшие в воде патроны поддались не сразу. Юрка взвел курки и прицелился. Сперва он нацелился в самую середину стаи, но затем сообразил, что связи сидят там не густо и дробь может попросту облететь их. Тогда он перевел стволы чуть правее, где близко сплылись три связи. И снова помедлил с выстрелом. К тройке подплывал четвертый. И когда этот четвертый слился со своими собратьями, Юрка ударил дуплетом.

Как ни тих был щелк курка о боек, чуткие связи услышали тонкий звук. Стая захлопала крыльями, снялась с воды и полетела прочь, быстро набирая высоту. Но четыре утки остались лежать на воде. Пусть никто, кроме Юрки, не мог бы увидеть эту незримую добычу, Юрка твердо знал, что она есть. Хороший, правильный выстрел. Юрка не заторопился и не опоздал, был и терпелив и быстр, как настоящий охотник.

А потом прилетела кряква, и Юрка вновь испытал мучительную силу искушения, среди его трофеев не было лишь кряквы — королевы мещерских озер. Но он справился с собой и, поразив ее тем же условным выстрелом, сказал про себя:

— Кряква моя!..

В этот день начался массовый прилет северной дичи; широконосики, чернеть, связи, гоголи налетали то парами, то в одиночку, то целыми стаями. И Юркин ягдташ пополнялся все новыми и новыми воображаемыми трофеями.

А затем подсел матерый селезень, сохранивший свой весенний, брачный наряд. Он опустился очень близко от подсадной, и Юрка стал ждать, когда он отплывет, чтобы не поразить подсадную, он хотел, чтобы все выглядело по правде. Неожиданно селезень взмахнул широкими крыльями и полетел. Юрка ударил ему вдогон, привычно отметив:

— Мой селезень!..

Но тут его взяло сомнение: попал бы он в селезня, если б стрелял не понарошку? Он же не успел хорошенько прицелиться. «Попал бы, чего там...» — отмахнулся от сомнения Юрка. «Нет, промазал»,— сказал внутри него другой, властный голос. Ну, что же, промазал так промазал, один промах не двенадцать выстрелов — вовсе неплохо!

Промах как-то разрядил владевшее Юркой шальное, азартное чувство. Ему не нужна стала больше эта игра. Он придет другой раз и опять настреляет уток, а на сегодня довольно. Он снова был в мире с самим собой и с пернатыми обитателями озера. Да и в школу пора!..

И Юрка пустился в обратный путь.

Над озером с берега на берег, из заводи в заводь козыряли матерые, связи, шилохвости, гоголи, и почти в каждой стае летел, словно проводник, маленький, быстрый чирок. Юрка глядел на одушевленную жизнь озера, на красивых и сильных птиц, рассекающих воздух в стремительном и гордом полете, не боящихся ни воды, ни неба, ни расстояний; птиц, гибнущих сотнями под пулями охотников и все же сохраняющих в целости свой кроткий и упрямый род, и чувствовал себя в них, а их в себе. И он думал о том, что не было бы в нем этого радостного ощущения сродства, этой близости всему живому на озере, если бы он смалодушничал.

Привязав челнок и спрятав в осоке весло, Юрка двинулся к лесной опушке. Едва он вступил в лес, как резко, гортанно всхлипнула сойка — неусыпный лесной страж. «Вра-аг!.. Вра-аг!..» — прокричала она. Но словно зная, что это идет честный и справедливый охотник, который даром не погубит дышащее, радующееся жизни существо, никто не попрятался. Дрозды доверчиво кружили над самой его головой, клевали спелую рябину, дятелок в красной тюбетейке долбил клювом ель, вылущивая из трещин коры жирных, вкусных жуков, а на ржавой закраине болота, видимой сквозь чащу, спокойно бродили тонконогие чибисы, носатые кулички и бекасы. И Юрка, чувствуя свою честность перед этим миром, шел свободным и легким шагом хозяина земли...

Отец поджидал его на завалинке. Юрка молча протянул ему туго набитую сумку. Анатолий Иванович поочередно осмотрел каждую утку, довольно кивая головой, когда видел, что дробины попали в голову. Затем он взял патронташ и пересчитал пустые гнезда.

— Вижу, промахов не было,— сказал он вместо похвалы.

— Был один,— это вырвалось как-то само собой, помимо желания Юрки.

Отец еще раз осмотрел патронташ.

— Чего врешь? Пяток патронов расстреляно — пять уток.



И тогда Юрка честно рассказал отцу обо всем, что случилось с ним в шалаше. Как ему хотелось нарушить запрет, как дрожал на спусковом крючке его палец, а глаз ловил сплывающихся по трое-четверо связей в невиданно большой стае и как он вспомнил про Ленина, который не убивал, а только брал утку на цель...

— Я, папаня, и подумал: буду делать, как Ленин. — Юрка помолчал, затем добавил: — А если бы я стрелял, то верную бы дюжину притащил. Только, когда по селезню щелкнул, чувствую, низко взял. Вот и говорю, что был промах...

Анатолий Иванович задумчиво поглядел на худенькое, раскрасневшееся лицо Юрки. Ему хотелось сказать сыну что-то доброе и важное, но все хорошие слова растерялись около сердца. Он откашлянул и тихо проговорил:

— Ты того... когда в догон бьешь, накрой птицу стволом и стреляй в шею — сроду не промажешь...

АТАКА

Степан ЩИПАЧЕВ

Поземка,
В морозной пыли небосвод,
Но виден бойцам
На горе завод.

Не зря колчаковцы
Работали ночи,
Горы крутизну
Поливали из бочек.

Блестит и грозит
Ледяная броня.
Ее шлифовала
Поземка два дня.

Но красные
С ходу —
Рывок за рывком —
Взбираются,
Лед задевая штыком.

Во взводах
Обстрелянный, тертый народ.
Но дергается
Кованым рыльцем пулемет;

Строчит, окаянный,
Дохнуть не дает,
Поднявшихся
Снова бросает на лед.

У взводного бинт
Алой кровью промок.
От гильз неостывших
Струится дымок.

Опять поднялись
И опять залегли,
Опять на локтях
Под огнем поползли.

Уже крутизна
Чуть не вся за спиной —
И встал комиссар:
«Товарищи, за мной!

За власть Сове...»
Наган упал к ногам.
Пуля пересекла
Слово пополам.

Лежит комиссар
На холодном снегу,
Упав на бегу
Головою к врагу.

Но слово большевистское
Пуля не берет.
Не встанет он, безусый,
Но слово живет.

Его подхватили
Живые голоса,
Живые, молодые,
Отважные сердца,

Чтоб стало это слово
Делами греметь,
Чтоб юных не оплакивала
Траурная медь.





Редактор индийского журнала «Экономик ревю» г-н Малавия в гостях у Зарифы Мамедовой. Слева — ее сын, председатель колхоза Нариман Мамедов.

Фото А. Пчемяна.

МОЙ ВТОРОЙ ВЕК

Зарифа МАМЕДОВА

Когда глаза мои впервые увидели небо, небо над Апшероном, оно было чистым. Нигде не было высоких вышек с фонтанами черной нефти. Когда же нашли нефть, много людей приехало в Баку. Баку стал большим городом, богатым, но грязным.

Чем больше богател город, тем хуже нам жилось, потому что и сюда к крестьянам протягивали свои лапы богачи. Одна такая лапа, Саллаха Дадаша, держала все наше село Сараи. Ему принадлежали земля, сады, скотина. В Баку у Дадаша были свои бойни.

Мне уже пошел восьмой десяток, когда мой младший сын, Нариман, приехал как-то из Баку и сказал:

— У нас в Азербайджане Советская власть. Прогоним Дадаша и заживем по-человечески.

Он собрал бедноту в селе и предложил сложиться в одно хозяйство. Кое-кто согласился, только складывать было нечего. Тогда Нариман съездил в Баку, и Бакинский Совет решил дать нам трактор. За трактором появились овцы, тоже из Баку, с бывших боен. Нариман поездил по разным городам — Астрахани, Сызрани, — навез в Сараи лошадей, коров. Из Крыма привез дерево миндаль, и у нас появился новый сад.

Все как будто наладилось. Нариман работал председателем колхоза, получил от правительства орден Ленина. Старший сын, Рахман (ему сейчас 81 год), трудился на колхозных виноградниках. Все мы работали много, но когда приходили домой, то в доме было что поесть, попить, во что одеться, чтоб выйти погулять. Только дома эти были такие старые, что со стороны казалось, будто ничего не изменилось в Сараи с той поры, как я здесь живу. Даже мне, старухе, было обидно, а что уж говорить о молодежи, которая видела, как кругом все строятся, как приезжают во всем гости посмотреть на жизнь азербайджанских крестьян, а к нам никто не приезжал.

Вот уже перевалило мне за сто лет. На другой стороне Апшерона вырос еще один большой город, Сумгаит, с красивыми домами и дворцами для рабочих. Казалось, мне уже не придется пожить в таких домах, готовить для гостей шашлыки, люля кебаб, которые мне так хорошо удаются. Но как тогда старый Баку помог нам трактором, так сейчас молодой Сумгаит пришел нам на помощь, дал нам рабочих, инженеров, поделился с нами камнем, трубами, стеклом, железом и на новом месте построил новое Сараи. Теперь и у нас красивые дома из камня, школа, как в городе, клуб, магазин, баня, водопровод. Я своими глазами вижу, что значит, когда в доме светло, в кухне из крана бежит вода и скотина, и поля, и огороды не знают жажды. Вода пришла из Апшеронского канала, который тоже провели советские люди.

Вот я и могу принимать гостей. Они теперь приезжают к нам часто. Так как мне трудно запомнить, кто и откуда, то могу сказать: из девяти государств побывали у нас в Сараи гости.

Но одного я хорошо запомнила. Может быть, потому, что он был совсем недавно, а скорее всего потому, что он восточный человек и мне было легко с ним говорить. Это господин Малавия, редактор из Индии. С ним я посидела вдоволь и рассказала ему многое о своей долгой, 108-летней жизни...

Я И ТРИ МОИ СЕСТРЫ

Карин МАРК,
кандидат биологических наук



Сестры Марк. Слева направо: Айно, Эльга, Лидия и Карин.

Фото С. Розенфельда.

Сентябрьским утром 1947 года мы вчетвером вышли из дому. Мама проводила нас таким напутствием: «До свидания, студентки!» И пока мы не скрылись за поворотом, она все стояла и глядела нам вслед. Мы знали, что мама была счастлива в эту минуту. Сбылась ее мечта: с поступлением нашей младшей сестры, Эльги, в университет все мы стали студентками.

Сбылись и наши мечты. Мы тоже стремились к высшему образованию, хотя не особенно рассчитывали его получить: мама работала одна. Правда, я тоже одно время работала, чтобы помочь младшим сестрам получить среднее образование. Но наших с мамой заработков тогда, до 1940 года, до Советской власти, конечно же, не хватило бы для того, чтобы все мы вчетвером смогли получить высшее образование. Достаточно вспомнить, какой высокой в буржуазной Эстонии была плата за обучение в университете.

Советская власть широко распахнула перед нами двери университета. Больше не надо было думать о том, чем же платить за обучение. Стипендия, которую все мы получали, сняла с маминых плеч уйму забот.

Итак, в сентябрьский день 1947 года мы все отправились в свои аудитории Тартуского университета: я — на отделение биологии, Эльга — на отделение геологии естественно-математического факультета, Айно — на сельскохозяйственный факультет. Только средней сестре, Лидии, было с нами не по пути: она занималась в художественном институте. Позднее я стала учиться в аспирантуре Института истории Академии наук Эстонской ССР и в 1953 году защитила кандидатскую диссертацию.

Лидия стала художницей, она пишет портреты и иллюстрирует научные книги.

Айно у нас практик, она работает в республиканской конторе «Заготскот» старшим зоотехником. В ее ведении больше шестидесяти откормочных баз.

Недавно и младшая наша сестра, Эльга, стала кандидатом наук.

Сто лет



Петрусь БРОВКА

Полсотни годов
Отсчитала дорога.
Меня утешают:
— Не так уж и много...

Согласья ищу
С утешеньями теми:
Ведь сделано мало,
Хоть светится темя.

А замыслов сколько!
Какие стремления!
Всего на столетье
Хватило б — не менее!

Но годы былые
Листаешь сначала.
Ты в жизни познал
И увидел немало.

Бывало и весело,
Было и скверно.
В младенчестве жил я,
Как в веке пещерном.



Я помню курну́ю
Осевшую хату,
Оконца, глядевшие
Подслеповато;

И жернов, и сту́пу,
И в бане корыто,
И печку — ровесницу
Палеолита;

И лапоть из лыка,
Изношенный, жалкий,
И знахаря зелье,
И шепот гадалки;

Тулупчик в заплатах,
В репейнике цепком,
А вместо оборванной
пуговки —
Щепку;

Опухшие лица,
Тупую усталость...
. . . .
Не сорок годов,
А столетье промчалось!

Я помню,
Как зычные трубы запели,
Как стяги багряные
Душу согрели.

Гордились мы
Первой ячейкою сельской:
Отсюда тянулись
В грядущее рельсы.

За книжку садились мы,
Песни слагали,
В которых
Всемирный пожар раздували.

Боролись мы с бандами
И самогоном,
Сидели в засадах
Отрядами ЧОНа.

В спектаклях играли
Порой неумело,
Но смело брались мы
За всякое дело!

О юность!
Горячие чувства и мысли!
Всего, что сработано,
Не перечислишь.

Все было:
Свидания и расставанья,
А также любви безответной
Страданья...

Изъезжены суша,
И море, и небо,
И съедено множество
Соли и хлеба,

И щедрой крупитчатой
Каши солдатской,
И выпито много
За чашею братской.

От края до края
Исхожены дали.
Немало, немало
Глаза повидали.

Стремительно
«ТУ-104» летает.
Близки нам сегодня
Просторы Китая.

Встречался я в мире
И с другом и с братом.
Дождался — разбужен,
Работает атом!

Он скоро и полюс
Растопит, разбудит...
Уже на Луну
Собираются люди.



Все выше наш стяг
Развевается в мире,
И наша семья
Все сильнее и шире.

Зачем же подсчитывать
Годы сегодня?
Мне кажется, прожита
Добрая сотня!

Перевел с белорусского
Яков ХЕЛЕМСКИЙ.

Старые приятели

Борис ЛАСКИН

Рисунки В. ВЫСОЦКОГО.

Казалось, ему не будет конца, этому ясному дню. Кругом было небо, только небо — синее-синее. Для того, чтобы убедиться, что на земле октябрь, нужно было просто посмотреть вниз, где под крылом самолета медленно тянулись пронизанные багрянцем леса.

Стожаров прилетел в шестнадцать сорок пять. На аэродроме среди встречавших он еще из окошка увидел мать. С непокрытой головой, заметно поседевшая, она стояла, держась рукой за воротник пальто, с нетерпением глядя, как к самолету подавали трап. Провожая глазами каждого пассажира, она ждала, когда же наконец появится Павлуша. И вот он вышел...

Мать оглянулась по сторонам: все ли знают, что этот стройный, рослый офицер с двумя золотыми звездочками на груди — ее сын, ее Павлик? Обнимая и целуя мать, Стожаров снова, как и в каждый свой приезд, с ласковым удивлением подумал, какая же она маленькая по сравнению с ним.





— Здравствуй, мама!

— Павлушенька!..

Взяв мать под руку, не замечая обращенных на него любопытных взглядов, не слыша, как вокруг почтительно произносят его фамилию, Стожаров неторопливо шел по бетонной дорожке, весело посматривая на незнакомых людей, всем своим видом как бы говоря: «Это моя мамаша, Мария Степановна. Прошу любить и жаловать!»

Они уже направлялись к автобусу, когда к ним подбежал молодой человек с фотоаппаратом в руках. Лихо щелкнув затвором, молодой человек представился:

— Комков. Из редакции «Волжской звезды», а также из местного радио. Разрешите вас приветствовать по случаю приезда в родной город. Машина к вашим услугам. Пожалуйста, Павел Федорович.

Поблагодарив за любезность, Стожаров усадил мать и, согнувшись, забрался в «Москвич».

Машину вел Комков. Первые два — три километра он скромно молчал, слушая обычный в таких случаях торопливый и сбивчивый разговор.

— Ну, мамочка, рассказывай.
— Нет уж, ты рассказывай.
— Я, как видишь.

— Да и я, как видишь.

Сидя за баранкой, Комков обдумывал план очерка: «Дважды Герой приехал в родные края. Многое изменилось. Вырос город. Выросли люди. С одной стороны, Герой гордится городом, с другой стороны, город гордится Героем. Очень хорошо. Передача по радио и подвал на вторую полосу и, кроме всего прочего, фото на три колонки: Стожаров рядом с бронзовым бюстом в городском саду над Волгой. Великолепно!»

Строя свои творческие планы, Комков взглянул в зеркальце над ветровым стеклом и встретил несколько обеспокоенное лицо Стожарова.

— У меня к вам вопрос,— сказал он.

Комков с готовностью обернулся. «Чудесно,— весело подумал он.— Стожаров сам начинает беседу». Тут же эту мысль опередила другая, уже облеченная в готовую фразу: «Мы едем в машине с дважды Героем подполковником Стожаровым. За окном мелькают милые сердцу приволжские пейзажи. Родные места. Стожаров долго молчит, потом с трудно скрываемым волнением спрашивает...»

— Давно вы этим делом занимаетесь?

— Журналистикой?

— Нет. Вождением машины.

— А-а... Вообще говоря, недавно. Я любитель.

— Оно и видно. Знаете что? Остановите-ка машину...

— Вы что, хотите выйти? — испуганно спросил Комков.

— Нет, я хочу с вами местами поменяться.

— Пожалуйста. Я даже рад.

Комков остановил машину, вежливо отодвинулся, и Стожаров, кряхтя, уселся на место водителя.



«ЗВЕЗДЫ ОКТЯБРЯ»

На этой вазе сорок звездочек. На каждой выжжен год, начиная с 1917-го и кончая 1957-м. Это подарок к празднику Г. В. Мизинова, преподавателя Уральского пединститута. Ваза изготовлена из липы и сосны с помощью стамесок и лобзика. Свою работу автор назвал «Звезды Октября». На каждой из пяти сторон вазы вырезан лозунг.

В. ПАШКОВ

Машина плавно тронулась. Комков обернулся к Марии Степановне.

— Как себя чувствуете?

— Сейчас получше,— вздохнула Мария Степановна. В интонации, с которой были произнесены эти два слова, было столько спокойной уверенности в сыне, столько любви к нему, что Комков невольно улыбнулся.

— Больно уж ты тихо едешь, Павлуша. Прибавь малость,— неожиданно сказала Мария Степановна и загодя опасливо прищурилась.

«Сейчас, голубчик, — говорил ее взгляд,— сейчас увидишь, как он ездить умеет!»

— Мама, мы очень быстро едем,— серьезно сказал Стожаров.— Погляди на спидометр, больше сорока километров.

— Можно сказать, летим со скоростью звука,— усмехнулся Комков, ожидая увидеть на лице соседа ответную улыбку.

— Со скоростью звука, товарищ Комков, и даже быстрее мы летаем одни,— рассудительно заметил Стожаров,— одни, без мамы.

— Понятно.

Комков помолчал.

— Павел Федорович,— начал он,— вы, конечно, понимаете, что мне, как работнику прессы, необходимо побеседовать с вами.

— Ну что ж, если необходимо, побеседуем.

— Слава богу,— сказал Комков,— а то вы знаете, у героев почему-то вошло в привычку избегать нашего брата-газетчика. Мол, обо мне писать нечего, вы лучше напишите о том, о другом, и так далее, и тому подобное. А вы должны понять (в голосе его зазвучал металл), что на примере вашей жизни, вашей, так сказать, судьбы, воспитываются десятки и сотни будущих героев.

— Видите ли...

— Нет, вы уж, пожалуйста, не спорьте,— отстраняюще поднял руку Комков.— Не спорьте,— повторил он, хотя Стожаров и не собирался спорить.— Скромность, конечно, украшает человека, это все понятно, но я прошу вас, Павел Федорович,— Комков загнул палец,— «а» — побеседовать со мной и «б»,— он загнул второй палец,— сфотографироваться в городском саду на фоне вашего бронзового бюста...

Стожаров посмотрел на Марию Степановну, как бы ища у нее защиты.

— Надо было нам на автобусе ехать, мама.

— А вы бы все равно от меня не ушли. Я бы вас поймал.

Стожаров нахмурился, и Комков вдруг почувствовал, что предстоящая беседа под угрозой краха.

— Впрочем, пожалуйста, вы можете мне отказать, можете не беседовать со мной. Меня разнесут на первой же летучке...

Комков покосился на Стожарова, пытаясь понять, произвела ли на него должное впечатление последняя фраза. Видимо, нет: Стожаров, глядя вперед, спокойно вел машину.

— Сперва меня разнесут,— продолжал Комков, обращаясь уже к Марии Степановне,— потом снимут с работы. Приду домой... У меня, между прочим, тоже мама есть. Приду и скажу: «Мамочка, мамочка...»

Стожаров расхохотался.

— Э, брат, отставить! Это запрещенный прием. Так дело не пойдет.

— Павлуша,— вмешалась Мария Степановна,— не отказывай человеку. Жалко ведь.

— Конечно, меня жалко,— бодро сказал Комков. Он почувствовал, что дело идет на лад.— Просто до слез будет жалко молодого журналиста, который не оправдал доверия.

— Ладно,— сказал Стожаров.— Поговорить — поговорим, а насчет того, чтобы сниматься...— Он на секунду оторвал руки от баранки и сложил их крестом.

Машина выехала на набережную. Стожаров затормозил.

— Спасибо, товарищ Комков, мы пройдемся. Нам недалеко. Всего доброго... А вечерком заходите, побеседуем.

— Есть, товарищ подполковник, — козырнул Комков, и машина рванулась с места.

...До чего же это был приятный вечер! Примчалась Настя, младшая сестра Стожарова, с мужем, приехали из Заволжья дядя Егор с тетей Наташей. У Стожаровых собрались старые друзья и добрые знакомые. Мария Степановна потчевала гостей, то и дело выставляя на стол новые приборы. В самый разгар вечера явился Комков. Он принес портативный магнитофон и, быстро установив его на буфете, с микрофоном в руке перебегал от одной группы к другой.

Лицо Комкова выражало страдание: официальной беседы никак не получалось. Как говорится, было не то настроение. Отойдя от стола на всю длину шнура, безуспешно отгораживаясь от веселого шума, Комков быстро говорил в микрофон:

— Внимание! Внимание! Наш микрофон установлен на квартире матери дважды Героя Советского Союза Павла Стожарова. Сегодня здесь многолюдно. Многие пришли приветствовать дорогого гостя. Среди присутствующих мы видим заслуженную учительницу Наталию Ивановну Забелину, главного технолога шинного завода товарища Прохорова, управляющую сберкассой Анастасию Попову, сестру Героя, и многих других...

Комков выключил микрофон. Заметив Марию Степановну, присевшую наконец к столу, он бросился к ней и взмолился, требуя минуты тишины.

— Мы беседуем с матерью Героя Марией Степановной, — страстно зашептал Комков, одновременно грозя присутствующим пальцем.— Добрый вечер, Мария Степановна!..

— Да ведь мы с вами нынче второй раз видимся,— удивилась Мария Степановна,— чем взадвперед-то бегать, вы бы лучше за стол сели. Вот студень хороший, буженинка, закусили бы, выпили...

— Большое спасибо,— поклонившись микрофону, сказал Комков,— радиослушателям будет интересно услышать...

— Мама,— раздался голос Насти.

— Иду, иду.— И Мария Степановна исчезла.

Комков сокрушенно вздохнул.

— Ничего. Про студень и буженину я оставлю, а про выпить вырежу...

Выбирая, к кому бы ему кинуться с микрофоном, Комков увидел входящего из передней Леонида Михайловича Панкратова, секретаря горкома партии.

Комков откашлялся и сказал в микрофон:

— В гости к Стожаровым прибыл первый секретарь городского комитета Коммунистической партии Советского Союза товарищ Панкратов.

Услышав эту фразу, отчеканенную Комковым с лихостью флотского старшины, Панкратов, усмехнувшись, шагнул к репортеру.

— Это вы размагнитьте, товарищ Комков, размагнитьте. Во-первых, я не прибыл, я пришел. Во-вторых, здесь не пленум горкома, а встреча друзей. Правильно, Паша? — И Панкратов обнял Стожарова.

Заметно смутившись и отойдя в тень, Комков доверительно заговорил в микрофон:

— Еще в довоенные годы зародилась дружба токаря завода комбайнов Леонида Панкратова и слесаря того же завода Павла Стожарова. Прошли годы — люди выросли. А дружба...— Комков с удовольствием смотрел на подполковника и секретаря горкома, которые совсем по-мальчишески хлопали друг друга по плечу,— а дружба, выдержав испытание временем, еще более окрепла,— закончил Комков и, перехватив подозрительный взгляд Панкратова, выключил микрофон.

Позднее, когда веселье разгорелось с новой силой, усталый Комков наконец присел к столу. И уже спустя полчаса он записывал на пленку хоровые песни, после чего встал и по собственной инициативе довольно музыкально исполнил арию из оперетты «Цыганский барон».

Гости разошлись поздно. Последним, путаясь в проводах, ушел Комков. Пожимая руку Стожарову, он благодарил его за гостеприимство, упрямо думая о том, что он все-таки напишет об этом вечере, напишет просто, непринужденно, по-хорошему...

Проводив гостей, Стожаров накинул плащ, взял фуражку.

— Мама,— сказал он,— ты спи, а я пойду поброжу маленько.

— Иди, иди, полуночник,— кивнула Мария Степановна и, поцеловав сына, тихо, словно боясь быть услышанной кем-то посторонним, добавила: — Иди в сад, на себя посмотри.

— Видел я уж себя, видел,— улыбнулся Стожаров и внезапно почувствовал, что им овладевает острое, почти детское любопытство.

Шагая по набережной, слушая гулкий стук каблуков, Стожаров вспоминал день, когда торжественно открывали бронзовый бюст. На митинге выступали Панкратов, летчик, сослуживец Стожарова, студентка из сельскохозяйственного института.

Он навсегда запомнил счастливейшую минуту. Он стоял тогда и смотрел на мать. То, что со скульптуры слетело покрывало, он ощутил по лицу матери: оно посветлело и казалось совсем молодым.

А потом, после торжества, скульптор, изваявший его бюст, совсем юноша, сказал Стожарову: «Согласитесь, что место мы выбрали наипрекраснейшее. Вот вы стоите на высоком берегу и смотрите вдаль, и перед вами Волга и вся Россия!..»

Захваченный воспоминаниями, Стожаров шел по безлюдной аллее городского сада. Впереди легко угадывалась Волга. Сквозь

поредевшую листву мелькали дальние огоньки, тянуло прохладным, упругим ветерком.

Стожаров оглянулся по сторонам — никого. Ему не хотелось, чтобы его застали здесь. Вот и бронзовый бюст. Опять, как и тогда, Стожарову подумалось, что скульптор ему слегка польстил. Лицо его на самом деле вовсе не так сурово. Глядя на свое изображение, Стожаров ясно, до удивления зримо вдруг представил себе ребят из его эскадрильи: храброго и застенчивого Фомина, балагура, отчаянного парня Зиненко, методичного, прозванного «профессором» Гришу Полубояринова... Ему казалось, что ребята здесь, рядом с ним, а он, Стожаров, на правом фланге.

Неожиданно где-то совсем близко звякнули струны гитары, послышались голоса. Стожаров быстро отступил в сторону, где за стеной кустарника одиноко белела скамья.

Появилась парочка — девушка и парень с гитарой. Вот они сели на скамью, прямо против бронзового бюста. Парень положил гитару и нежно взглянул на девушку. Освещенные луной, они сидели рядом, в извечной классической позе влюбленных...



— Все-таки он красивый, Стожаров, правда? — произнесла девушка, указав на бронзовое изваяние.

Стожаров растерянно улыбнулся. Меньше всего он думал, что поздней ночной порой говорить будут о нем.

— У него строгое и мужественное лицо,— продолжала девушка.

«Ну, это вы скульптора благодарите»,— мысленно произнес Стожаров.

— Я каждый раз смотрю на него и думаю: что может быть прекраснее человеческого подвига?

Парень молча слушал свою подругу.

«Экая безжалостная,— укоризненно подумал Стожаров.— Смотрит на тебя твой дружок, ты бы ему что-нибудь приятное сказала...»

И, словно в ответ на его мысли, парень вздохнул и сказал:

— Ты знаешь, Лиза, у меня такое впечатление, что ты пришла на свидание не ко мне, а к нему...

Стожаров оглянулся. Как бы ему понезаметней уйти, а то получается неловко: он стал невольным свидетелем весьма интимного разговора.

— Савка, ты неправ,— сказала между тем девушка.

— Прав я. Мы не в первый раз здесь встречаемся, и всегда ты...

Виновато улыбнувшись, девушка пожала плечами.

— В сущности говоря, он обыкновенный человек, как ты, как я,— горячо сказал парень.

«Глубоко прав!» — отметил про себя Стожаров, делая попытку незаметно скрыться.

— Если хочешь знать,— парень мгновение помолчал,— я с ним очень хорошо знаком!..

— Савка, не ври!

— Да. Если хочешь знать, он мой друг детства. Я с ним переписываюсь.

Последняя фраза заставила Стожарова задержаться. «Кто бы это мог быть?»

— Он ко мне неплохо относился. Он меня звал Савка, как ты...

— А ты его звал Пашка, да? — В голосе девушки явственно прозвучала ирония.

— Да,— с непонятным отчаянием произнес парень.

— Интересно,— перебила его девушка,— почему ты мне раньше об этом не рассказывал?

— А если бы я тебе раньше об этом рассказал, что-нибудь изменилось бы? Впрочем, может быть, мне помогла бы тень его славы...

Девушка ласково потрепала парня за волосы.

«Вот ведь задача!» — подумал Стожаров. Сунув руку в карман, он достал папиросу, встал и решительно вышел на аллею.

Влюбленные вздрогнули.

— Прошу прощения, нет ли у вас спички, молодой человек?

Парень протянул коробок.

Стожаров чиркнул спичкой и увидел открытое, удивительно располагающее к себе лицо парня.

— Савка! — воскликнул Стожаров и протянул парню руку.— Сколько зим, сколько лет! Не узнаешь? Пашу Стожарова не узнаешь?!

Парень встал, испуганно попятился и тут же, как подкошенный, опустился на скамью. Девушка, оцепенев от удивления, смотрела на Стожарова, потом перевела взгляд на бронзовый бюст и опять на Стожарова, стоящего в двух шагах и дружески трясущего руку Савке.

— Товарищи! Что это?..— пролепетала девушка.

— Ничего особенного. Я как раз сегодня прилетел. Вы меня извините, я вам, наверное, помешал...

— Да нет, что вы,— жалобно сказал парень. К нему наконец вернулся дар речи.— Мы очень рады, Павел Федорович!

— Что еще за Павел Федорович! Зови меня, как в детстве звал, Пашей или Пашкой.

— Хорошо, Паша... Федорович,— кивнул Савка и пристально взглянул в глаза Стожарову. «Что сейчас будет?»

А Стожаров, приветливо улыбаясь, присел на скамейку.

— Посижу с вами минуточку и уйду, ладно?

— Пожалуйста,— сказала девушка. Все происходящее продолжало казаться ей забавным сном.

— Ну, расскажи, Савушка, как дела, как успехи? Ведь мы с тобой бог знает сколько не виделись! Где работаешь?

— Работаю на заводе комбайнов.

— Все там же, значит?

— Все там же.

— Он еще учится в вечернем институте на заводе,— сказала девушка.

— Да, учусь,— подтвердил Савка.

— Ну и как?

— Отлично он учится! — сказала девушка.

— Я смотрю, молодо ты выглядишь,— с удовольствием заметил Стожаров.

— Савка, ты про целину расскажи,— сказала девушка. Ей вдруг захотелось поведать о Савке все самое хорошее.

— А чего рассказывать? — пожал плечами Савка.

— Он в отпуск в Кустанайскую область ездил,— сказала девушка и пододвинулась к Савке.— Собрал целую бригаду заводских ребят, и так они там поработали, что о них даже в «Комсомольской правде» два раза писали!..

— Читал я. Радовался за тебя, молодец! Ну, а футболом попрежнему увлекаешься?

На губах у Савки дрогнула улыбка.

— Играю в заводской команде левого полусреднего.

Стожаров открыто любовался Савкой.

— Так... Ну, а личная жизнь? Извини, что я твою тайну выдаю, но ты, помнится, писал, что влюблен и собираешься жениться... в свое время.

Савка не ответил. Он с тревогой посмотрел на девушку. Она вдруг опустила голову и с преувеличенным вниманием стала разглядывать опавшие листья.

— Ну, коли так, желаю счастья. Всего вам хорошего.— Он попрощался с девушкой, потом пожал руку Савке.— Будь здоров, Савка. Рад был тебя повидать!

— До свидания, Паша!

— Я думаю, еще увидимся? Звони.

— Обязательно позвоню,— с воодушевлением произнес Савка.

Приложив руку к козырьку фуражки, Стожаров пошел вдоль аллеи. Влюбленные молча смотрели ему вслед.

— Что это было? — тихо спросила Лиза.

— Что было? Встретились старые приятели.

— Савка! — донесся издалека голос Стожарова.— Ну-ка иди на минутку, я же тебе номер телефона не сказал.

— Я сейчас, Лиза...

Савка побежал по аллее и догнал Стожарова.

— Пиши телефон,— громко сказал Стожаров,— тридцать девять сорок семь... Ну, а сейчас давай познакомимся,— быстро вполголоса сказал он.— Подполковник Стожаров.

— Кузнецов Савелий,— представился Савка, с восхищением глядя на Стожарова.

— Парень ты, по-видимому, правильный. Работаешь, учишься, любишь. Хорошо она о тебе говорила! Оказался бы ты пустышкой, я бы...

— Павел Федорович, слово даю.

— Потом, потом... Тебя Лиза ждет. Беги!..

Уже выходя из сада, Стожаров увидел идущего навстречу Комкова.

— Вы почему не спите? — удивился Стожаров.

— А вы почему не спите?

— Гулял. С хорошими людьми познакомился.

Комков открыл футляр фотоаппарата.

— Павел Федорович, у меня импульсная лампа. Давайте щелкнем кадрик.

— Спать пора,— строго сказал Стожаров,— зачехлите вашу технику, и пошли спать!..

Савка вернулся. На скамейке его ждала Лиза. Савка сел рядом и молча взял ее руку в свою.

Бронзовый бюст окружали деревья. Ветер с Волги шевельнул листвой, и зыбкий отсвет луны пробежал по лицу,— казалось, бронзовый Стожаров улыбался.



НА ДЕМОНСТРАЦИИ.

Они носят друг друга на руках.

В. Черников

— Раньше этот кубок принадлежал царю.

— А он за какую команду играл? За «Локомотив» или за «Спартак»?

Л. Самойлов



Что представил мой сын, читая учебник истории.

Л. Самойлов



Пастух будущего.

Л. и Ю. Черепановы

КРОССВОРД

По горизонтали:

3. Литературно-художественный и общественно-политический журнал. 6. Заслуженное доверие. 10. Персонаж пьесы К. Тренева «Любовь Яровая». 11. Общевойсковое соединение. 12. Учреждение для лечения и отдыха. 15. Картина художника М. Грекова. 17. Спортивное общество. 21. Общественная проверка. 22. Вещество, обладающее высокой прочностью, теплопроводностью, электропроводностью. 24. Летательный аппарат. 25. Процесс обработки изделия. 26. Советский фотографический аппарат. 27. Тонко скрученная пряжа. 28. Музыкальный инструмент. 31. Надпись в кинофильме. 32. Река бассейна Балтийского моря.

По вертикали:

1. Автономная советская республика. 2. Районный центр Иркутской области. 4. Латышский народный поэт. 5. Химический элемент. 7. Название некоторых древесных видов ив. 8. Крейсер. 9. Советский скульптор. 13. Столица Кара-Калпакской АССР. 14. Геодезический знак. 15. Участник подпольной организации «Молодая гвардия». 16. Советский кинофильм. 18. Герой поэмы А. Твардовского. 19. Вокально-инструментальное произведение. 20. Поэма В. Маяковского. 23. Радиоактивный минерал. 24. Советская летчица. 29. Часть океана. 30. Строфа, состоящая из девяти строк.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 44

По горизонтали:

3. Динамик. 7. Институт. 8. Акростих. 10. Колокольчик. 12. Гривна. 15. Рубенс. 17. Гардина. 18. «Мать». 19. Миля. 20. Газогенератор. 21. Ядро. 23. Ринг. 24. Корсика. 25. Ноябрь. 26. Сказка. 29. Айвазовский. 30. Симфония. 32. «Светлана». 33. Витерит.

По вертикали:

1. Енот. 2. Амга. 3. Деталь. 4. Карачи. 5. Эндшпиль. 6. Линолеум. 9. Победоносиков. 10. Контрамарка. 11. Кручковский. 12. Гуандун. 13. «Разгром». 14. Антракт. 16. Селенга. 22. Осязание. 23. Резонанс. 27. Иванов. 28. Акцент. 31. Яхта. 32. Сера.

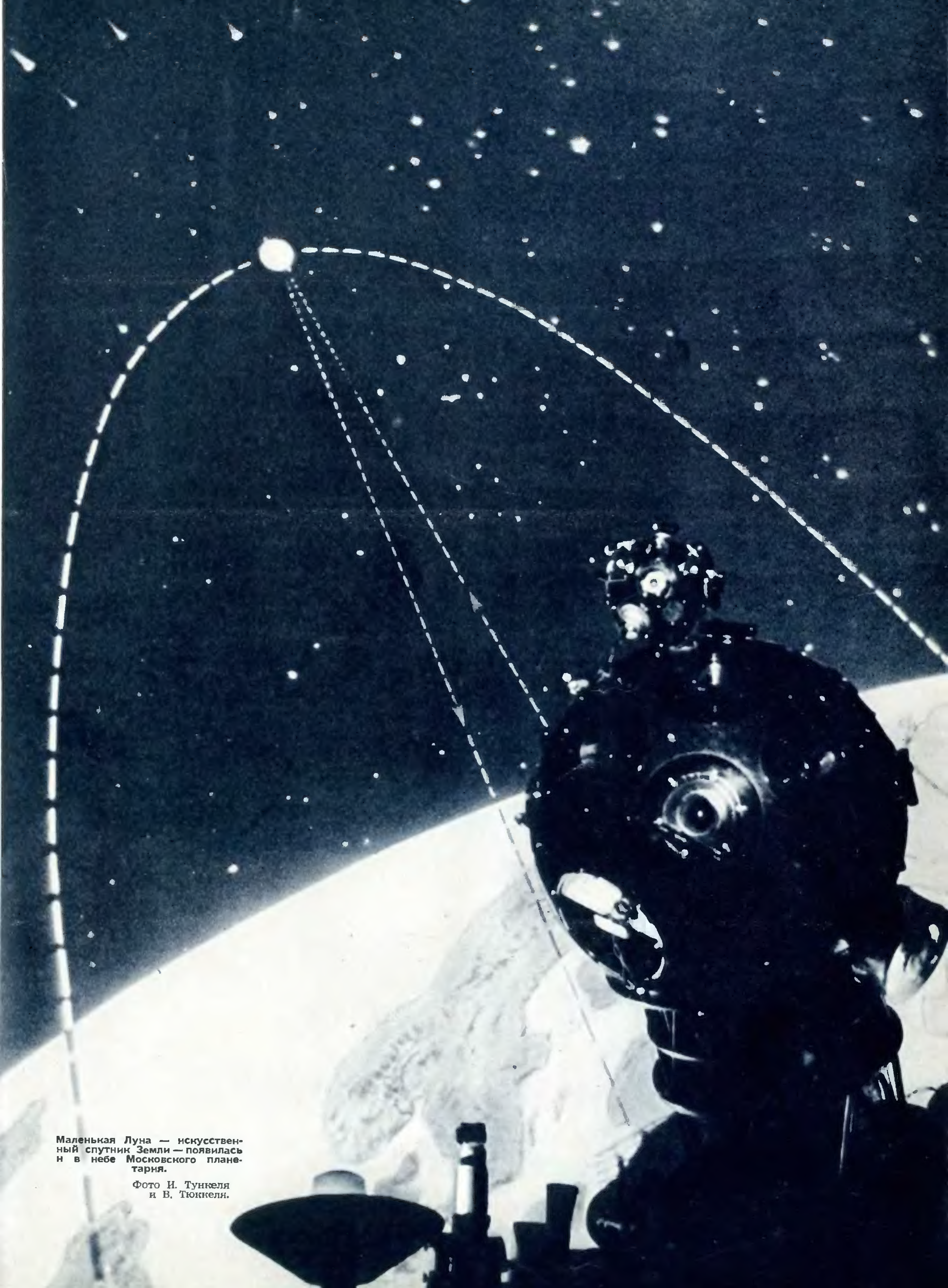
На вкладках этого номера: репродукции картин М. Девятова «Ветер Октября», С. Гуецкого «Смольный», Г. Савинова «Перед штурмом», Л. Ткаченко «Год 1917», В. Кузнецова «Штаб Октября», А. Лопухова «Арест Временного правительства», А. Дейнеки «Оборона Петрограда».

Адрес редакции: Москва, Д-47, ул. «Правды», 24. Рукописи не возвращаются. Оформление Л. Шумана.

Телефоны отделов редакции: Секретариат — Д 3-38-61; Отделы: Внутренней жизни — Д 3-39-07; Международный — Д 3-38-63; Искусств — Д 3-38-67; Литературы — Д 3-31-83; Библиографии — Д 3-38-26; Науки и техники — Д 3-38-65; Юмора и сатиры — Д 3-32-13; Спорта — Д 3-32-67; Фото — Д 3-35-48; Оформления — Д 3-38-44; Писем — Д 3-36-28; Литературных приложений — Д 3-30-39.

А 10016. Подписано к печати 30/X 1957 г. Формат бум. 70×108½. 2,5 бум. л.—6,85 печ. л. Тираж 1 200 000. Изд. № 1285. Заказ № 2716.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина. Москва, Д-47, ул. «Правды», 24.



Маленькая Луна — искусственный спутник Земли — появилась н в небе Московского планетарня.

Фото И. Тункеля и В. Тюккеля.

Цена номера 3 руб.